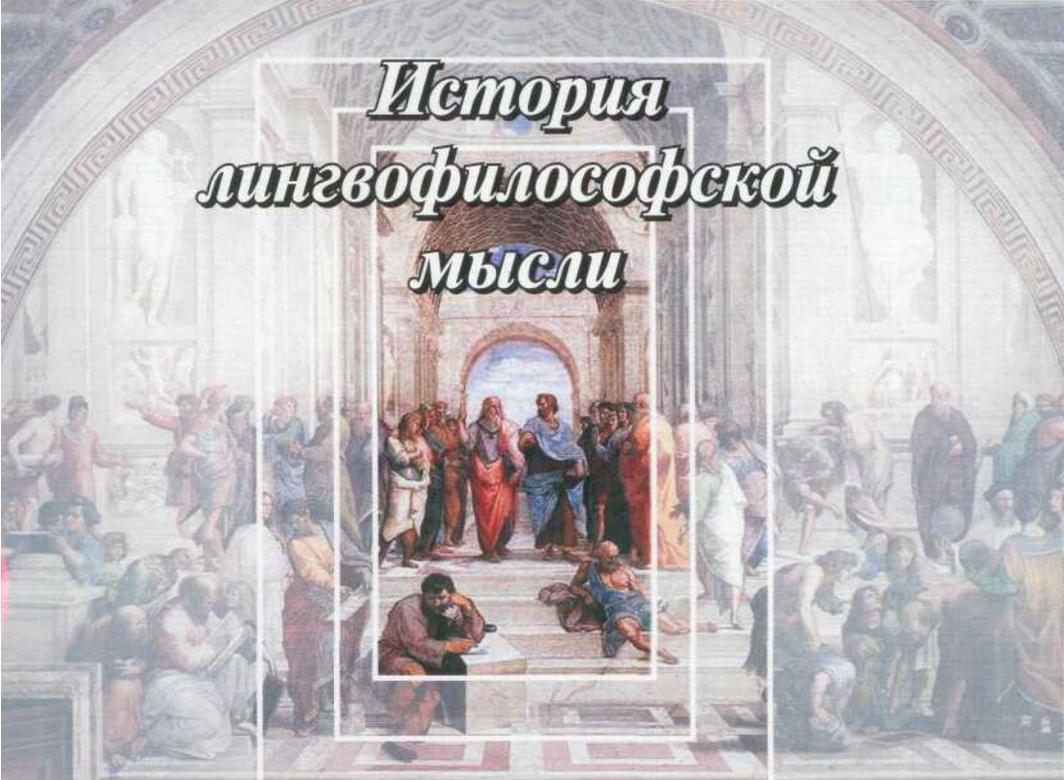


*История
лингвофилософской
мысли*



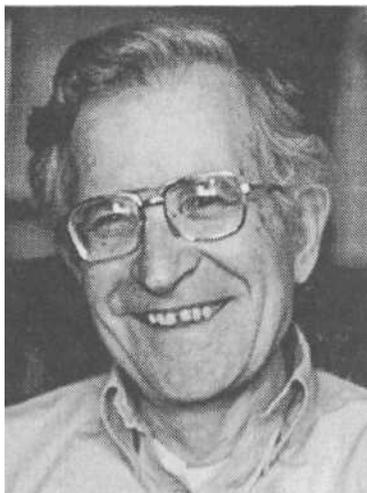
Н. Хомский

**КАРТЕЗИАНСКАЯ
ЛИНГВИСТИКА**

**Глава из истории
рационалистической
мысли**



URSS



Ноам ХОМСКИЙ

Профессор отделения лингвистики
и философии Массачусетского
технологического института

*Фотография из книги:
Chomsky N. On Nature and Language.
Cambridge University Press, 2002*

История лингвофилософской мысли

Noam Chomsky

Institute Professor at the Department of Linguistics
and Philosophy, Massachusetts Institute of Technology

CARTESIAN LINGUISTICS

**A CHAPTER IN THE HISTORY
OF RATIONALIST THOUGHT**

Harper & Row, Publishers
New York and London
1966

Н. Хомский

КАРТЕЗИАНСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

**Глава из истории
рационалистической мысли**

Перевод с английского
и предисловие
Б. П. Нарумова

Хомский Ноам

Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли:
Пер. с англ. / Предисл. Б. П. Нарумова. — М.: КомКнига, 2005. — 232 с.
(История лингвофилософской мысли.)

ISBN 5-484-00181-1

В настоящей книге выдающийся американский лингвист Ноам Хомский попытался проследить в трудах языковедов и философов прошлого идеи, сходные с положениями разработанной им теории трансформационной порождающей грамматики. С этой целью он обратился к лингвофилософской рационалистической традиции XVII-XVIII вв., незаслуженно, по его мнению, забытой. Обильно цитируя сочинения Р.Декарта и Ж.деКордемуа, Дж.Хэрриса и Р.Кедворта, братьев Шлегелей и В.фон Гумбольдта, а также других мыслителей Франции, Германии и Англии, Хомский создает целостное представление о главных особенностях рационалистического подхода к языку, основы которого были заложены еще в античности.

Знаменитый труд Хомского был переведен на многие языки и вызвал в свое время бурную полемику в научной печати; его русский перевод, несомненно, будет воспринят с интересом лингвистами, психологами, философами, культурологами, историками науки и представителями других гуманитарных профессий.

Ответственный редактор *В. Д. Мазо*

Издательство «КомКнига». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
Подписано к печати 11.07.2005 г. Формат 60x88/16. Печ. л. 14,5. Зак. № 146.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. ПА, стр.

ISBN 5-484-00181-1

1966 by Noam Chomsky
КомКнига, 2005

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА	
	E-mail: URSS@URSS.ru
	Каталог изданий в Интернете: http://URSS.ru
	Тел./факс: 7 (095) 135-42-16 Тел./факс: 7 (095) 135-42-46



Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

Содержание

Предисловие переводчика	6
Слова благодарности	16
Введение.	18
Творческий аспект языкового употребления	22
Глубинная и поверхностная структура	69
Описание и объяснение в лингвистике.	107
Усвоение и употребление языка.	121
Выводы	143
Примечания.	146
Литература	215

Предисловие переводчика

В свое время на русский язык был переведен ряд трудов Н. Хомского, написанных им в 50-60 гг. XX в., в которых изложены основные положения трансформационной порождающей грамматики, в значительной степени определившей облик мирового языкознания второй половины XX в. В числе прочих была переведена книга «Язык и мышление» [Chomsky 1968; Хомский 1972 б], содержание которой отчасти перекликается с содержанием «Картезианской лингвистики». Однако этот труд остался непереуведенным, хотя он занимает особое место в творчестве Хомского, ибо в нем подробнейшим образом рассматриваются лингвофилософские концепции прошлого, которые автор считает созвучными своей собственной общезыковой теории. Философские и психологические предпосылки последней, пожалуй, наиболее последовательно изложены в расширенном издании книги «Язык и мышление» [Chomsky 1972], в дополнительных главах, которые, к сожалению, остались непереуведенными на русский язык. В них мы находим четкое объяснение

причин обращения Хомского к рационалистическим построениям мыслителей XVII и XVIII вв., а также к концепциям романтиков первой трети XIX в.

Центральной проблемой лингвистической теории Хомский считает удивительный факт несоответствия между языковыми знаниями, имеющимися в уме рядового говорящего, и теми скудными данными, которые были в его распоряжении, когда он усваивал родной язык. Хомский неоднократно повторяет мысль о том, что ребенку приходится овладевать языком, опираясь на весьма немногочисленные и некачественные данные, а именно на речь окружающих его людей, которая характеризуется всевозможными оговорками, отклонениями, начатыми и незаконченными фразами. И тем не менее, воспринимая сплошные аномалии, ребенок в конце концов становится обладателем в высшей степени сложной и специфической грамматики языка, моделью которой является трансформационная порождающая грамматика (Хомский, правда, ничего не говорит о том, как ребенок, усвоив «правильную» грамматику, сам начинает, подобно взрослому, производить «неправильные» высказывания). Объяснение этому факту Хомский находит только одно: в голове ребенка имеется некий врожденный механизм, «внутренний схематизм», который и позволяет ему за разнородными речевыми данными разглядеть некую универсальную грамматику, способствующую усвоению родного, и не только родного языка [*Там же*, 158, 160, 174].

В теории универсальной грамматики должны быть сформулированы принципы организации языка, которые в рационалистической концепции считаются обусловленными универсальными свойствами разу-

ма [Там же, 107]. Хомский исходит из того, что мыслительные процессы одинаковы у всех «нормальных» людей (см. с. 185 наст. издания), а это означает, что на универсальную грамматику накладываются очень сильные ограничения, обусловленные конститутивными особенностями человеческого мышления как врожденной способности, поэтому варьирование языковых структур оказывается отнюдь не беспредельным. Таким образом, универсальная грамматика и «врожденные идеи», если воспользоваться традиционным философским термином, в концепции Хомского оказываются взаимосвязанными, и эта связь обусловлена зависимостью языковой деятельности от мыслительной, определяемой в свою очередь принципами нервной организации человека, сложившейся в ходе длительной эволюции [Хомский 1972 а, 56]. В рецензии на «Картезианскую лингвистику» Х. Орслефа [Aarsleff 1970, 581] в принципе верно отмечается отсутствие обязательной связи между врожденными идеями и универсальной грамматикой; последняя может строиться и на отличной от картезианской философии основе, например, на основе философии Локка. Как бы то ни было, у Хомского по указанной причине одно оказалось тесно связанным с другим, однако следует отметить, что в его обзоре лингвофилософских концепций прошлых эпох эту связь нелегко проследить, поскольку прежде всего его интересовал иной аспект языковой деятельности, а именно ее «творческий аспект».

Теорию Хомского с традицией рационалистической лингвофилософии объединяет один очень существенный момент — это мысль о том, что первейшая функция языка заключается в *выражении мысли*, в то

время как коммуникативная функция, функция донесения мысли до «другого», отнюдь не отрицаясь, остается в тени, считается чем-то второстепенным. Для грамматистов Пор-Рояля «говорить — значит выражать свои мысли знаками, которые люди изобрели для этой цели» [Арно, Лансло 1991, 19], и не более того. В «картезианской школе» если и учитывается коммуникативная функция языка, то она сводится к «передаче мыслей», а единственным назначением речи считается достижение понимания собеседником мыслей говорящего [Бозе 2001, 353, 354, 357]; поэтому основной задачей общей грамматики объявляется изучение способов точного выражения мыслей согласно универсальным законам логики [Бозе, Душе 2001, 242, 253]. Сходные воззрения можно обнаружить и у немецких романтиков, в частности у Гумбольдта, который полагал, что «надо абстрагироваться от того, что язык функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений»; все в языке «направлено на выполнение определенной цели, а именно на выражение мысли» [Гумбольдт 1984, 69, 72–73]. Также и Хомский считает центральным положением картезианской лингвистики идею о том, что функция языка не сводится к одной коммуникативной, ибо язык — это прежде всего основное орудие *мышления* и *самовыражения* (см. с. 66 наст. издания). С этим связана идея, которую можно рассматривать как центральную в лингвофилософской концепции Хомского, — идея о творческом характере языковой деятельности

не только в сфере высокой поэзии, но и в области обыденного общения. Говорящий, используя конечные средства, способен порождать бесконечное количество новых высказываний, которые он ранее никогда не произносил и не воспринимал. Более того, говорящий способен мыслить и оформлять в языке свои мысли спонтанно, независимо от внешних и даже внутренних стимулов. По этому пункту Хомский постоянно полемизирует с воззрениями своих предшественников-бихевиористов и в свете этой полемики он прежде всего и рассматривает рационалистические концепции XVII - первой трети XIX вв. В то же время свободное мышление и свободная речь человека, не обремененного ограничениями конкретного процесса коммуникации (который в теории Хомского принципиально не рассматривается), взаимосвязаны с самостоятельностью человека в общественно-политическом плане, о чем свидетельствуют пространные выдержки из сочинений Руссо и Гумбольдта. Удивительным образом философия и лингвистическая теория Хомского гармонично сочетаются с его политическими убеждениями, подобно тому как в его личности оказались нераздельно слитыми ученый, философ и общественный деятель левых убеждений.

Сосредоточившись на выразительной функции языка и оттеснив на второй план его коммуникативную функцию, философы прошлого и Хомский тут же убедились, что язык оказался весьма несовершенным «зеркалом мысли», ибо структура высказывания не является простым отражением структуры мысли, какой для лингвиста-философа является прежде всего

суждение. И это понятно, поскольку построение высказывания зависит не только от передаваемой мысли, но и от его коммуникативной цели, а также от общих особенностей человеческой коммуникации, обусловленных возможностями психики человека, которая накладывает определенные ограничения на семиотические процессы. Отсюда следует неизбежность постулирования поверхностной и глубинной структуры, причем глубинная структура оказывается приравненной к структуре мысли и выступает в виде «пропозиций», т. е. логических суждений, не прошедших еще стадию «утверждения». Нечто аналогичное Хомский обнаружил в «Грамматике Пор-Рояля», в которой говорится о «привходящих» предложениях, «иногда лишь скрыто присутствующих в нашем уме, но не выступающих явно как предложение в речи» [Маслов 1991, 6]. Поскольку логические формы мышления универсальны, универсальными оказываются и глубинные структуры, а языки различаются лишь поверхностными структурами (правда, позднее Хомский признал вклад поверхностных структур в формирование значения предложения). Этим же обусловлен и пресловутый «англоцентризм» Хомского, который заключается всего лишь в том, что Хомский считает возможным познавать универсальные законы грамматики, анализируя материал одного-единственного языка, в его случае английского.

Какова бы ни была общая оценка лингвофилософской концепции Хомского (литература по этому вопросу едва ли обозрима), следует признать высокую степень ее внутренней когерентности и самостоятельности. Хомский начал выстраивать свою линг-

вистическую теорию, отталкиваясь от американской языковедческой традиции, и лишь позже обратился к лингвофилософским построениям «века гениев» (XVII в.) и последующих веков. Как подчеркивает сам Хомский, он сделал это вовсе не для более солидного обоснования своей теории; он отнюдь не искал в трудах прошлого «поддержки» собственных воззрений [Chomsky 1972, 188]. Им двигало убеждение, что рационалистическая психология и языкознание, преданные забвению лингвистами XIX в., интересны сами по себе, и в них можно почерпнуть много ценного для современных исследований. По этой причине книгу Хомского следует рассматривать прежде всего как самоценный очерк истории тех философских и лингвистических идей, которые оказались сходными с его собственными. Он произвел определенный выбор, и как всякий выбор талантливого и оригинального мыслителя, он оказался в той или степени субъективным. Мы не найдем в «Картезианской лингвистике» подробного описания философских и лингвистических взглядов в целом каждого цитируемого им автора, поэтому отдельные идеи оказываются вырванными из контекста соответствующей теории. Однако Хомский и в предисловии, и в примечаниях неоднократно делает оговорки о фрагментарном и предварительном характере своего очерка, говорит он и о высокой степени условности концепта «картезианская лингвистика», объединяющего в себе ряд идей, которые в совокупности нельзя обнаружить ни у одного автора, включая Декарта. Несмотря на это после выхода книги в свет вспыхнула полемика именно по поводу концепта «картезианская лингвистика», однако в конце концов она

утратила всякий смысл, как и любые дискуссии, ведущиеся по поводу слов, а не сути дела [Звегинцев 1972, 5]. Больше смысла имеет дискуссия по поводу прямого или косвенного влияния картезианства в целом на те или иные грамматические концепции, в частности на «Граматику» Пор-Рояля. Но и в данном случае Хомский отнюдь не сводит истоки этой грамматики к одному лишь картезианству, указывая на предшествующую традицию рационалистических построений (средневековые спекулятивные грамматики, Санктиус; в литературе указывается также на влияние идей Б. Паскаля [Маслов 1991, 7]). В любом случае книгу Хомского нельзя рассматривать как обычную историю лингвофилософских учений, в которой четко прослеживается филиация идей и выдвигаются гипотезы относительно возможного влияния одних авторов на других. У Хомского совсем иные задачи, но следует признать, что он поступил неосторожно, выбрав для своей книги достаточно неопределенное по содержанию название «Картезианская лингвистика» да еще с подзаголовком, в котором фигурирует слово «история», что дало повод ревнителям историко-филологической чистоты подвергнуть его книгу суровой критике. Тем не менее квазитермин «картезианская лингвистика» стал достаточно употребительным в лингвофилософском обиходе, как это и случается с броскими наименованиями, которые легко образуют «акциденцию в памяти».

Как это часто бывает, критикуемое сочинение оказалось гораздо интереснее критики. Книга Хомского написана ярко и увлекательно, она представляет собой сложную мозаику из цитат на нескольких языках,

являясь своеобразной антологией лингвофилософской мысли XVII, XVIII и первой трети XIX вв. Это обстоятельство делает ее нелегкой для перевода. В последние десятилетия многие из цитируемых сочинений были переведены на русский язык, в том числе было издано два перевода «Грамматики Пор-Рояля», что значительно облегчило переводчику его работу и позволило ему ввести «Картезианскую лингвистику» в лингвистический и философский интертекст на русском языке. Все опубликованные переводы были использованы в максимальной степени, при этом в большинстве случаев текст цитат, приводимых Хомским в переводе с иных языков на английский, был сверен с оригиналом; иногда в существующие переводы вносились изменения, обусловленные как введением цитат в контекст книги Хомского, так и необходимостью уточнения этих переводов. При наличии более, чем одного перевода, использовался тот, который представлялся более приемлемым. Все детали использования цитат оговорены либо в тексте, либо в постраничных примечаниях переводчика и редактора, помеченных звездочками, в то время как обширные примечания автора, как и в оригинале, помещены после основного текста, в котором на эти примечания указывают цифры отсылок к этим примечаниям*.

Б. П. Нарумов

* Ввиду обилия цитат, часто даваемых в уже публиковавшихся русских переводах, в этой книге приняты двойные отсылки к цитируемому: *Op. cit.* — для работ в иностранном оригинале и *Там же* — для русских ранее публиковавшихся переводов. — *Прим. ред.*

Литература

- Арно, Лансло* 1991 — *Арно А., Лансло К.* Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля). Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
- Бозе* 2001 — *Бозе Н.* Язык // Французские общие, или философские, грамматики XVIII - начала XIX века: Старинные тексты. М.: ИГ «Прогресс», 2001.
- Бозе, Душе* 2001 — *Бозе Н., Душе.* Грамматика // Французские общие, или философские, грамматики XVIII - начала XIX века.
- Гумбольдт* 1984 — *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Звегинцев* 1972 — *Звегинцев В. А.* Предисловие // Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Маслов* 1991 — *Маслов Ю. С.* О «Грамматике Пор-Рояля» и ее месте в истории языкознания // Арно А., Лансло К. Всеобщая рациональная грамматика. 1991.
- Хомский* 1972 а — *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Хомский* 1972б — *Хомский Н.* Язык и мышление. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Aarsleff* 1970 — *Aarsleff H.* The history of linguistics and professor Chomsky // Language, 1970. Vol.46. №3.
- Chomsky* 1968 — *Chomsky N.* Language and mind. N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1968.
- Chomsky* 1972 — *Chomsky N.* Language and mind. Enlarged Edition. N. Y.; Chicago; San Francisco; Atlanta: Harcourt, Brace, Jovanovich, Inc., 1972.

Слова благодарности

Настоящее исследование было завершено в то время, когда я был стипендиатом Американского совета ученых обществ. Частично оно проводилось на средства гранта, предоставленного Национальным институтом здоровья при Центре когнитивных исследований Гарвардского университета (грант № МН-05120-04 и грант № МН-05120-05). Сбор материала был в немалой степени облегчен благодаря гранту, предоставленному Советом по исследованиям в области социальных наук.

Значительная часть материала, содержащаяся в данном исследовании, была представлена в 1965 г. на семинарах, проводимых Кристианом Госсом в Принстонском университете. Участникам семинара я благодарен за многочисленные полезные замечания. Также я хочу выразить благодарность Уильяму Боттилье, Моррису Халле, Роману Якобсону, Луису Кампфу, Джерольду Кацу и Джону Виртелю за очень ценные советы и критику.

Ноам Хомский

Краткое и достаточно точное описание интеллектуальной жизни европейских народов на протяжении последних двух с четвертью веков, вплоть до настоящего времени, заключается в том, что они жили за счет накопленного капитала, оставленного им гением семнадцатого века.

А.Н. Уайтхед.

Наука и современный мир

Введение

Неоднократно цитированное высказывание Уайтхеда, которое я избрал в качестве эпиграфа, с успехом может послужить фоном для дискуссий по истории языкознания современного периода. Применительно к теории языковой структуры его суждение вполне справедливо, если речь идет о XVIII и о начале XIX вв. Однако современное языкознание сознательно отошло от традиционных лингвистических теорий и попыталось построить совершенно новую, независимую от предшественников теорию языка. Обычно профессиональных лингвистов мало занимает тот вклад, который внесла в лингвистическую теорию европейская традиция более раннего времени; они увлечены совсем иной тематикой и работают в интеллектуальной атмосфере, невосприимчивой как к проблемам, стимулировавшим языковедческие исследования в прошлом, так и к добытым ранее результатам. Указанный вклад по большей части неизвестен современным лингвистам, а если они и знакомы с ним, то смотрят на него с нескрываемым презрением. Для немногочисленных современных трудов по истории языкознания типична следующая позиция: «все, что предшествует XIX в.,

еще не лингвистика и может быть описано в нескольких строках»¹. Однако в последние годы наблюдается заметное оживление интереса к проблемам, которые на самом деле серьезно и плодотворно исследовались еще в XVII, XVIII и в начале XIX вв., хотя впоследствии к ним обращались редко. Более того, возврат к классической проблематике привел к повторному открытию многого из того, что было прекрасно понято в указанный период. Этот период я буду называть «картезианской лингвистикой»; ниже я постараюсь обосновать свое решение.

Тщательный анализ параллелей между картезианской лингвистикой и некоторыми современными разысканиями может быть плодотворен во многих отношениях. Перечисление всех выгод выходит за рамки настоящей работы, более того, любую попытку подобного перечисления можно считать совершенно преждевременной, если учесть плачевное состояние исследований по истории языкознания (отчасти оно является следствием характерной для современного периода недооценки трудов предшественников). В своей книге я ставлю менее амбициозную задачу, а именно: дать предварительный и фрагментарный очерк некоторых ведущих идей картезианской лингвистики, оставив в стороне эксплицитный анализ ее связей с нынешними исследованиями, в которых делается попытка прояснить и развить эти идеи. Читатель, осведомленный о текущей работе в области так называемой «генеративной грамматики», сам сможет без особого труда проследить эти связи². Тем не менее общее построение моего очерка определяется той проблематикой,

которая оказалась в центре внимания в настоящее время. Это означает, что я не собираюсь характеризовать картезианскую лингвистику в том виде, в каком она представляла в глазах своих сторонников³; свое внимание я сосредоточу на развитии идей, которые вновь стали обсуждаться в современных работах без всякой связи с предыдущими исследованиями. Моя первоочередная задача заключается всего лишь в том, чтобы обратить внимание лингвистов, занимающихся генеративной грамматикой и ее импликациями, на некоторые малоизвестные труды, имеющие отношение к разрабатываемым ими темам и проблемам; нередко в них предвосхищаются их собственные конкретные выводы.

Эта книга представляет собой подобие коллективного портрета. Невозможно привести в пример ни одного ученого, про которого можно было бы сказать, опираясь на тексты его сочинений, что он придерживался всех описываемых мною воззрений. Пожалуй, ближе всего к этому идеалу Гумбольдт, стоявший на пересечении традиций рационалистического и романтического мышления; его труды во многих отношениях знаменуют собой кульминационный и одновременно конечный пункт в их развитии. Более того, по ряду причин применимость термина «картезианская лингвистика» к анализируемым в книге направлениям теоретической лингвистики может быть поставлена под сомнение. Во-первых, эти течения возникли на основе языковедческих исследований, проведенных ранее; во-вторых, некоторые из наиболее активных их представителей наверняка посчитали бы свои труды чем-то совершенно противоположным картезианской доктрине (см. прим. 3); в-третьих, сам Декарт уделял языку

Введение

мало внимания, а его немногочисленные высказывания по этому поводу можно истолковать по-разному. Каждое из перечисленных возражений в какой-то мере оправдано. И все же мне кажется, что в рассматриваемый период можно выделить некоторую совокупность идей и умозаключений относительно природы языка, которая получила последовательное и плодотворное развитие, будучи соотнесенной с определенной теорией мышления⁴; это развитие можно считать одним из последствий картезианской революции. В любом случае уместность самого термина «картезианская лингвистика» не представляет особой важности. Главная задача — определить истинную природу «капитала идей», накопленного в период, предшествовавший современному, оценить его значимость для нынешних исследований и изыскать пути его использования во имя прогресса лингвистической науки.

**Творческий аспект
языкового
употребления**

Декарт в своих сочинениях лишь изредка обращается к языку, однако некоторые из его замечаний о природе языка играют важную роль в его учении в целом. В ходе своих кропотливых и напряженных исследований, направленных на выяснение границ возможностей механистического объяснения, ему пришлось выйти за пределы физики и обратиться к физиологии и психологии; в результате он пришел к убеждению, что все аспекты поведения животных можно объяснить, исходя из предположения, что животное есть автомат⁵. В ходе своих исследований Декарт разработал внушительную систему спекулятивной физиологии. Вместе с тем он пришел к выводу, что человеку присущи уникальные способности, которым невозможно дать чисто механистическое объяснение, хотя подобным образом можно в значительной мере объяснить поведение человека и функционирование его тела. Основное различие между человеком и животным яснее всего проявляется в языке человека, в частности, в способности человека формулировать новые утверждения, выражающие новые мысли применительно к новым обстоятельствам. По его мнению,

«можно, конечно, представить себе, что машина сделана так, что способна произносить слова, и некоторые из них — даже в связи с телесными воздействиями, вызывающими то или иное изменение в ее органах; например, если тронуть ее в одном месте, она спросит, что ей хотят сказать, а если тронуть в другом, то закричит, что ей больно и т. п.; но она не сможет расположить слова различным образом, чтобы дать ответ в соответствии со смыслом всего сказанного в ее присутствии, как это могут делать даже самые тупые люди»

[ср.: Декарт 1950, 301; 1989, 283]⁶.

Эту способность пользоваться языком не следует смешивать с «естественными движениями, которые свидетельствуют о наличии страстей и которым могут подражать как машины, так и животные» [ср.: *Декарт* 1950, 302; 1989, 284]. Главное различие заключается в том, что «такая машина никогда не могла бы пользоваться словами или другими знаками, сочетая их так, как это делаем мы, чтобы сообщать другим свои мысли» [цит. по: *Декарт* 1989, 283; ср.: *Декарт* 1950, 300-301]. Это специфическая способность человека, независимая от его умственных способностей. В самом деле,

«замечательно, что нет людей настолько тупых и глупых, не исключая и полоумных, которые не смогли бы связать несколько слов и составить из них речь, чтобы передать свою мысль. И напротив, нет другого животного, как бы совершенно и одарено от рождения оно ни было, которое сделало бы нечто подобное»

[ср.: Декарт 1950, 301; 1989, 283].

Эту разницу между человеком и животным невозможно объяснить физиологическими различиями периферийных органов. Поэтому Декарт поясняет, что

«это происходит не от отсутствия органов, ибо сороки и попугаи могут произносить слова, как и мы, но не могут, однако, говорить, как мы, т. е. показывая, что они мыслят то, что говорят, тогда как люди, родившиеся глухонемыми и в той же мере или в большей, чем животные, лишённые органов, служащих другим людям для речи, обыкновенно сами изобретают некоторые знаки, которыми они объясняются с людьми...»

[цит. с небольш. изм. по: *Декарт* 1989, 283—284;
ср.: *Декарт* 1950, 302].

Короче говоря, человек как вид наделен совершенно специфической особенностью, он обладает уникальным типом умственной организации, которую нельзя объяснить строением периферийных органов или связать с общими особенностями его интеллекта⁷; она находит свое проявление в том, что можно назвать «творческим аспектом» повседневного пользования языком, когда обнаруживаются такие его свойства, как безграничная множественность целей и свобода от контроля посредством внешней стимуляции*. Таким образом,

"Под контролем языкового поведения человека посредством внешней стимуляции Н. Хомский подразумевает разработавшиеся в рамках бихевиористской теории методы «обусловливания», или «научения» (conditioning), т. е. выработки условных рефлексов, создания сети ассоциаций и их последовательного «усиления» (reinforcement); см. [*Skinner* 1957]. (Везде далее в не оговоренных случаях примечания переводчика.)

Декарт утверждает, что язык служит как свободному выражению мысли, так и надлежащему реагированию в любом новом контексте; он не сводится к устойчивой ассоциации высказываний с внешними стимулами или внутренними физиологическими состояниями (доступными обнаружению любым путем, не ведущим к порочному кругу)⁸.

Исходя из невозможности механистического объяснения творческого аспекта нормального употребления языка, Декарт делает вывод, что кроме тела необходимо считать атрибутом других человеческих существ [помимо него самого] также и разум — субстанцию, сущность которой составляет мышление. Приводимые им аргументы в пользу наличия разума у тел, «имеющих сходство» с его собственным, ясно свидетельствуют о том, что постулируемая субстанция играет роль «творческого принципа», существующего наряду с «механическим принципом», на основе которого получают объяснение телесные функции. В самом деле, человеческий разум — это «универсальное орудие, которое можно использовать в любых обстоятельствах» [ср.: *Декарт* 1950, 301; 1989, 283], в то время как органы животного или машины «нуждаются в некотором особом расположении для выполнения каждого особого действия» [цит. по: *Декарт* 1950, 301; ср.: *Декарт* 1989, 283]⁹.

Центральная роль, отводимая Декартом языку при обосновании наличия разума у других человеческих существ, еще более четко обозначена в его письмах. В письме к маркизу Ньюкаслскому (1646) он утверждает, что «среди наших внешних действий нет ни одного, которое могло бы убедить наблюдающего

их человека в том, что наше тело не просто машина, которая двигается сама по себе, а машина, заключающая в себе мыслящую душу; исключением являются слова или другие знаки, производимые по поводу любых являющихся нам предметов вне связи с какой-либо страстью»¹⁰. Оговорка относительно страстей добавлена для того, чтобы исключить «крики радости, отчаяния и тому подобное»; также исключается «все, чему можно обучить животных с помощью искусства»¹¹. Далее Декарт повторяет аргументацию, изложенную в «Рассуждении о методе» и еще раз подчеркивает, что не бывает столь несовершенных людей, которые были бы не в состоянии использовать язык для выражения своих мыслей, и не существует «столь совершенного животного, которое использовало бы знаки, чтобы сообщить другим животным нечто, не имеющее никакого отношения к своим страстям». Еще раз Декарт повторяет, что само совершенство инстинкта животных свидетельствует об отсутствии у них мышления и доказывает, что они всего лишь автоматы. В письме к Генри Мору (1649)* он выражает свои мысли следующим образом:

«Однако, по моему мнению, основной довод, который может убедить нас, что животные лишены разума, заключается в следующем. Верно, что среди животных одного и того же вида некоторые более совершенны, чем другие, как это бывает и среди людей; особенно это заметно на примере лошадей и собак, ибо одни из них более способны, чем другие, усваивать то, чему их

* В оригинале письмо ошибочно датировано 1647 годом.

учат. Также верно, что все животные без всякого труда могут изъяслять нам, посредством голоса или других телодвижений, свои естественные порывы, как-то: гнев, страх, голод и тому подобное. Тем не менее ни разу не было замечено, чтобы какое-либо животное достигло столь высокой степени совершенства, что оказалось в состоянии пользоваться настоящей речью, то есть указывать нам, посредством голоса или других знаков, на нечто, соотносимое лишь с мыслью, а не с естественным порывом. Ибо речь — единственный верный признак наличия в теле скрывающейся там мысли; ведь ею пользуются все люди, даже самые глупые и самые слабоумные, но ни одно животное этого не делает. Именно речь можно считать тем, что воистину отличает человека от животного»^{12, 13}.

В общем можно сказать, что разнообразие человеческого поведения, его изменчивость в соответствии с новыми ситуациями и способность человека к инновациям (главным свидетельством чему является творческий аспект языкового употребления) побуждают Декарта приписывать наличие разума и другим человеческим существам, отличным от него самого, ибо для него подобного рода способность находится за пределами возможностей любого мыслимого механизма. Таким образом, для создания адекватной психологической теории, наряду с «механическим принципом», достаточным для объяснения всех иных аспектов живого и неживого мира, включая широкий круг человеческих действий и «страстей», необходимо также постулировать наличие «творческого принципа».

Рассуждения Декарта о языке в связи с возможностями механистического объяснения были развиты в интересном исследовании Кордемуа*¹⁴. В своем сочинении Кордемуа задался целью выяснить, следует ли предполагать существование разума у других людей, отличных от него самого¹⁵. Многие сложные виды человеческого поведения не имеют отношения к доказательству того, что другие люди отнюдь не автоматы, поскольку эти виды поведения предположительно можно объяснить в терминах рефлексов и тропизмов. На ограниченность подобных объяснений указывает тот факт, что люди «смело покушаются на то, что может их погубить, и отказываются от того, что могло бы их уберечь» [*Cordemoy 1677, 7*]. А это значит, что действиями людей руководит их воля, сходная с волей самого Кордемуа. Однако самым убедительным доказательством является их речь,

«обнаруживаемая мною связность их речей, которые я слышу от них в любой момент»

[*Op. cit., 8*].

«Ибо, хотя я прекрасно могу себе представить некий механизм, произносящий несколько слов, я в то же время понимаю, что, если пружины, с помощью которых распределяется воздух или открываются трубы, откуда доносятся эти звуки, будут расположены в определенном порядке, они никогда не смогут сами его изменить; поэтому, как только послышится первый звук,

* *Кордемуа Жеро де* (Cordemoy G. de, 1628-1684) — французский философ и историк.

другие звуки, долженствующие за ним последовать, обязательно зазвучат тоже при условии, что в машине будет достаточно воздуха; напротив, когда я слышу, как другие тела, устроенные подобно моему, произносят слова, эти слова почти никогда не выстраиваются в одном и том же порядке. Вдобавок я замечаю, что эти слова те же самые, которыми воспользовался бы и я, если бы захотел изъяснить свои мысли другим людям, способным их воспринять. И наконец, чем больше я забочусь о воздействии, производимом моими словами, когда я произношу их в присутствии этих тел, тем больше я уверен, что они будут восприняты; слова же, которые произносят они, столь совершенным образом соответствуют смыслу моих, что у меня не остается никаких сомнений по поводу того, что и они обладают душой, совершающей в них то же самое, что моя душа во мне»

[Op. cit., 8–10].

Короче говоря, Кордемуа стремится доказать, что невозможно дать механистическое объяснение новизне, связности и уместности обычной речи. Однако он подчеркивает, что необходимо проявлять осторожность, когда речевая способность используется как доказательство непригодности механистического объяснения. Факт произнесения членораздельных звуков или повторения произнесенных высказываний сам по себе ничего не доказывает, поскольку его возможно объяснить и в механистических терминах. Не имеет отношения к сути спора и возможность произнесения «естественных знаков», выражающих внутренние состояния, равно как и производство знаков, обусловлен-

ных воздействием внешних стимулов. Главным доказательством является способность порождать связную речь, содержащую инновации, которые соответствуют новизне ситуаций.

«Говорить — не значит повторять те же самые слова, которые только что воздействовали на слух, но... произносить другие слова по поводу первых»

[Ор. cit., 19].

Чтобы показать, что другие люди — не автоматы, необходимо привести доказательства присутствия в их речи творческого аспекта; их речь должна соответствовать всему, что может только произнести «экспериментатор»; «...если в результате любых опытов, которые я только смогу провести, окажется, что они, как и я, используют речь, тогда я с полным основанием буду считать, что у них есть душа, как и у меня» [Ор. cit, 21]. Далее приводятся возможные виды опытов. Например, можно создать новые «институциональные знаки»:

«я замечаю, что с некоторыми из них я могу договориться о следующем: то, что обозначает обычно одну вещь, теперь будет обозначать другую, и тогда получится, что только те, с кем я договорился, смогут понять мои мысли»

[Ор. с«_г, 22-23].

Сходные доказательства обнаруживаются и в тех случаях,

Н. Хомский. Картезианская лингвистика

«когда я вижу, что эти тела производят знаки, не имеющие никакой связи ни с состоянием, в котором они находятся, ни с их стремлением к самосохранению; когда я вижу, что эти знаки соответствуют тем, которые ранее произвел я, чтобы высказать собственные мысли; когда я вижу, что они сообщают мне идеи, которых у меня не было ранее и которые соотносятся с предметом, уже имеющимся в моем уме; наконец, когда я вижу величайшую согласованность между их знаками и моими»

[Op. at., 28–29].

Столь же доказательно поведение других людей, когда оно свидетельствует об «их намерении обмануть меня» [Op. cit., 30–31]. Если многочисленные опыты такого рода приводят к успеху, то «было бы неразумно с моей стороны сомневаться, что они [люди] подобны мне» [Op. cit., 29].

Кордемуа постоянно подчеркивает новаторский характер разумных действий:

«...новые мысли, приходящие нам в голову при разговоре с людьми, для любого из нас являются надежным свидетельством того, что они обладают таким же разумом, как и мы»

[Op. cit., 185];

«...мы с полным правом можем считать, что тела говорящих с нами людей соединены с разумом, ибо они часто сообщают нам новые мысли, которых у нас не было, или же они вынуждают нас произвести перемену в имевшихся у нас мыслях...»

[Op. cit., 187].

Кордемуа настойчиво повторяет мысль о том, что «опыты», свидетельствующие об ограниченности механистического объяснения, — это те опыты, которые связаны с использованием языка, в частности, с тем, что мы назвали его творческим аспектом. В этом отношении, равно как и при рассмотрении акустической и артикуляторной основы языкового употребления и методов научения (обусловливания), создания ассоциаций и их усиления*, которые могут облегчить усвоение истинного языка людьми, а также неязыковых функциональных систем коммуникации животными, Кордемуа всецело основывается на положениях учения Декарта.

В рассуждениях Кордемуа главным для нас является акцент на творческом аспекте языкового употребления и проведение основополагающего различия между человеческим языком и чисто функциональными коммуникативными системами животных, зависящими от стимулов. Попытка же объяснить человеческие способности в картезианском духе имеют меньшее значение.

Следует отметить, что в последующих исследованиях редко делались попытки опровергнуть картезианские аргументы, приводимые в доказательство ограниченности механистического объяснения. Декарт полагал, что для объяснения приводимых им фактов следует постулировать наличие «мыслящей субстанции». На это обычно возражали, что способности человека вполне объяснимы более сложным строением его тела, однако серьезных попыток выяснить, как это

* См. примечание на с. 25.

может быть в действительности, предпринято не было (подобно Декарту, Кордемуа и другие философы пытались показать, каким образом поведение животных и разнообразные функции человеческого тела можно объяснить, исходя из предположений об их материальной организации). Так, Ламетри* считал, что человек — просто самая сложная из машин. «Он относится к обезьяне и к другим умственно развитым животным, как планетные часы Гюйгенса к часам императора Юлиана» [*La Mettrie* 1912, 140]**¹⁶. По его мнению, мышление можно без труда объяснить на основе принципов механики. «Я считаю мысль столь мало противоречащей организованной материи, что она мне представляется основным ее свойством, подобным электричеству, способности к движению, непроницаемости, протяженности и т. п.» [*Op. tit.*, 143-144; *Ламетри* 1983, 221]. Более того, не существует принципиальных препятствий к обучению обезьяны говорению. Мешает лишь «некий дефект их органов речи», но от него можно избавиться посредством надлежащих упражнений [*Op. cit.*, 100; *Там же*, 188]. «Я почти не сомневаюсь, что при надлежащих опытах с этими животными мы в конце концов сможем достигнуть того, что научим его [животное] произносить слова, т. е. говорить. Тогда перед нами будет уже не дикий и дефективный, а настоящий человек, маленький парижанин» [*Op. cit.*, 103; *Там же*, 190].

* *Ламетри Жюльен Офре де* (La Mettrie J. O. de, 1709-1751) - французский врач и философ.

** [Цит. по: *Ламетри* 1983,219]. Имеется в виду различие между маятниковыми и солнечными или песочными часами.

Поэтому и говорящая машина вовсе не такая уж фантазия. Если «Вокансону* потребовалось больше искусства для создания своего „флейтиста“, чем для своей „утки“, то его потребовалось бы еще больше для создания „говорящей машины“; теперь уже нельзя более считать эту идею невыполнимой...» [*Op. cit.*, 140-141; *Там же*, 219].

За несколько лет до выхода в свет книги «Человек-машина» Ж. А. Бужан** в своем поверхностном и, надо полагать, не слишком серьезном сочинении предпринял одну из весьма немногих попыток открыто опровергнуть положение Декарта о том, что язык человека и язык животных различаются между собой самым решительным образом¹⁷, однако его контраргументы лишь подтвердили верность взглядов Декарта на язык людей и язык животных. Он заявляет, что «животные умеют разговаривать и понимают друг друга столь же хорошо, что и мы, а иногда и лучше» [*Bougeant* 1739, 4]. Свое мнение он обосновывает тем, что они проявляют «разнообразные чувства» посредством внешних знаков, что они способны к совместному труду (в пример он приводит бобров, приписывая им наличие языка, имеющего много общего с теми «языковыми играми»***, которые Витгенштейн

* *Вокансон Жак де* (Vaucanson J. de, 1709-1782) — французский механик, изобретатель автоматов с часовым механизмом.

** *Бужан Гийом Гиацинт* (Bougeant G. H., 1690-1743) — французский писатель-иезуит.

*** Имеется в виду уподобление языка игре, в основе которой лежит определенный комплекс правил.

рассматривал в качестве «примитивных форм» человеческого языка). Все же он признает, что «всякий язык животных сводится к выражению их чувств, порождаемых страстями, а все их страсти можно свести к небольшому числу» [Op. cit., 152]. «По необходимости им приходится повторять всегда одно и то же выражение, и это повторение длится все то время, пока предмет их занимает» [Op. cit., 123]. У животных нет «абстрактных и метафизических идей».

«Они обладают лишь непосредственными и крайне ограниченными знаниями о том наличном материальном предмете, который воздействует на их чувства. Человек, далеко превосходя животных своим языком, равно как и своими идеями, не может их выразить иначе, как составляя свою речь из личностных и связующих элементов, которые определяют смысл речи и ее направленность»

[Op. cit., 154].

У животных в сущности имеются лишь наименования различных «испытываемых ими страстей» [Op. cit., 155]. Они не в состоянии произнести «фразу личностного характера и составленную подобно нашей» [Op. cit., 156].

«Зачем природа наделила животных способностью говорить? Исключительно для того, чтобы они могли, общаясь между собой, выражать свои желания и чувства и таким образом имели возможность удовлетворять свои потребности и делать все, что необходимо для сохранения своей жизни. Я знаю, что вообще-то

Творческий аспект языкового употребления

у языка есть и иная цель: выражать идеи, знания, размышления, рассуждения. Однако какой бы системе изучения животных ни следовать... всегда окажется, что природа наделила их лишь знанием того, что им полезно или необходимо для сохранения вида и каждой особи. Поэтому у них нет никаких абстрактных понятий, никаких метафизических рассуждений, они не исследуют с любопытством любые окружающие их предметы, у них нет иной науки, кроме знания о том, как правильно себя вести, как надежно охранять себя, как избежать всего того, что причиняет им вред, и как добывать то, что полезно. Вот почему никто никогда не видел, чтобы они произносили речи на публике или обсуждали причины и их следствия. Им известна одна лишь животная жизнь»

[Op. cit., 90-100].

Короче говоря, «язык» животных всецело поддается механистическому объяснению, как это себе представляли Декарт и Кордемуа.

Очевидным образом, ни Ламетри, ни Бужана непосредственно не занимала проблема, поставленная Декартом, — проблема творческого аспекта языкового употребления. Речь идет о том, что человеческий язык, будучи свободен от контроля посредством легко идентифицируемых внешних стимулов или внутренних физиологических состояний, может служить основным орудием мышления и самовыражения, а не только средством коммуникации, используемым для сообщения, просьбы или приказа¹⁸. Предпринимаемые в наше время попытки решить проблему разумного поведения едва ли дали более удовлетворительные ре-

зультаты. Райл*, например, критикуя «декартовский миф»¹⁹, просто обходит молчанием эту тему. Он полагает, что картезианцам следовало бы «задаться вопросом, на основе какого критерия разумное поведение можно действительно отличить от неразумного» [Ryle 1949, 21], а не искать объяснения для первого типа поведения. Однако эти требования в их правильном понимании вовсе не являются взаимно исключающими альтернативами. Критерии Райла в принципе мало чем отличаются от «опытов» Кордемуа, однако в то время как Райл довольствуется одним лишь заявлением, что «разумное поведение» обладает определенными свойствами²⁰, картезианцев волновала проблема объяснения этого типа поведения, поскольку они убедились в невозможности объяснить его в механистических терминах. Вряд ли мы вправе считать, что значительно продвинулись, по сравнению с XVII в., в деле выяснения особенностей разумного поведения, тех способов, которыми оно усваивается, принципов, которым оно подчиняется, или природы лежащих в его основе структур. Конечно, можно проигнорировать эти проблемы, однако до сих пор не было предложено последовательной аргументации для доказательства того, что они не имеют отношения к реальности или же находятся за пределами возможностей научного анализа.

Современные лингвисты также не смогли серьезно осмыслить наблюдения Декарта над человеческим языком. Блумфилд, например, замечает, что в есте-

* *Райл Гилберт* (Ryle G., 1900-1976) — английский философ-неопозитивист, представитель лингвистической философии.

ственном языке «возможности сочетания практически бесконечны» [цит. по: *Блумфилд* 2002, 303], поэтому нечего и надеяться на объяснение языкового употребления в терминах повторения или задания списком, однако ему более нечего сказать по поводу этой проблемы, и он ограничивается замечанием о том, что говорящий производит новые формы «по аналогии со сходными формами, которые уже встречал» [*Там же*, 304]²¹. Хоккет также объясняет инновации исключительно действием «анalogии»²². Подобного рода высказывания можно найти у Пауля, Соссюра, Есперсена и многих других. Когда творческий аспект языкового употребления объясняют «анalogией» или «грамматическими моделями», то эти термины используются целиком метафорически, их смысл остается неясным, и они никак не связаны с техническим применением лингвистической теории. Такой способ выражения не менее бессодержателен, чем толкование Райлом разумного поведения как использования неких мистических «сил» и «предрасположений», или чем попытка объяснить нормальное, творческое использование языка в терминах «генерализации», «навыка» или «обусловливания». Описание в таких терминах неверно, если эти термины имеют хоть какое-то техническое значение; в других отношениях оно просто вводит в заблуждение, ибо заставляет предположить, что рассматриваемые способности каким-то образом могут быть объяснены как всего лишь «более сложный случай» чего-то иного, достаточно хорошо понятого.

Итак, мы убедились, что позиция картезианцев, нашедшая выражение в сочинениях Декарта и Кор-

демуа, а также такого открытого противника картезианства, как Бужан, заключается в том, что в своем нормальном употреблении человеческий язык свободен от контроля внешними стимулами, а его функция не сводится к одной только коммуникативной; язык является орудием свободного выражения мыслей и адекватного реагирования на новые ситуации²³. Как мы вскоре убедимся, размышления над тем, что мы назвали творческим аспектом языка, получили различное продолжение в XVIII и начале XIX в. Одновременно и второй тест Декарта, предназначенный для определения того, являются ли автоматы «подлинными людьми», также получил новую интерпретацию в контексте «великой цепи бытия»*. Декарт провел резкое различие между человеком и животным, аргументируя это тем, что поведение животных — дело инстинкта и что само совершенство и специфичность животного инстинкта позволяют дать ему механистическое объяснение. Из этого следует примечательный вывод о наличии степеней разумности и о наличии обратной зависимости между степенью совершенства инстинкта и развитием интеллектуальных способностей. Так, Ламетри формулирует следующий универсальный закон природы: «чем больше животные выигрывают в отношении разумности (*du cote de l'esprit*), тем больше теряют они в отношении инстинкта» [*La Mettrie* 1912, 99; цит. с изм. по: *Ламетри* 1983, 187]. См. прим. 7 и 28.

* Имеется в виду идущая из античности идея *scala naturae* 'лестницы природы' — иерархии живых существ соответственно степени их совершенства; см. [*Lovejoy* 1936, 58–59].

Гердер в своем знаменитом, отмеченном премией очерке о происхождении языка* оригинальным образом соединил два критерия Декарта (обладание языком и разнообразие человеческих действий)²⁴. Как и Декарт, Гердер доказывает, что человеческий язык есть нечто отличное от выражения эмоций и его наличие невозможно объяснить развитостью органов артикуляции; очевидным образом, возникновение языка не следует объяснять подражанием природе или «договоренностью» о его создании²⁵. Язык следует считать скорее естественным свойством человеческого разума. Однако природа не наделяет человека инстинктивным языком, инстинктивной языковой способностью или способностью к размышлению, «отражением» которой является язык. Скорее, наоборот, основным свойством человека является слабость инстинкта, и он безусловно уступает животным в силе и безошибочности своего инстинкта. Однако инстинкт и изошренность чувств и навыков связаны с ограниченностью жизненного пространства и опыта; вся чувствительность и вся сила воображения оказываются сосредоточенными в пределах узкой и неизменной области [Herder 1960,15-16]. В качестве общего принципа можно принять следующий: «Сила и интенсивность чувствительности, способностей и инстинктивных навыков животных увеличиваются обратно пропорционально величине и разнообразию их круга действий» [Op. cit., 16-17]**. Способности же

* Очерк получил премию Берлинской академии наук в 1770 г.

** Здесь и далее цит. приводятся в пер. с нем. См. старый перевод [Гердер 1906] и частичный перевод [Гердер 1959].

человека менее изошрены, более разнообразны и более диффузны. «Человеку не присущ такой единообразный и тесный круг, в котором его ожидал бы лишь один род занятий...» [*Op. cit.*, 17]. Иными словами, он свободен от контроля со стороны внешних стимулов и внутренних побуждений, и у него нет нужды каждый раз реагировать на них безупречным и специфическим образом. Эта свобода от инстинкта и от контроля со стороны внешних стимулов лежит в основе того, что мы называем «человеческим разумом»; «...если бы человек был во власти животных побуждений, он был бы лишен того, что мы называем ныне его разумом; ведь именно эти побуждения неведомым образом направили бы его силы в одну точку, так что у него не осталось бы никакого пространства для свободного размышления» [*Op. cit.*, 22]. Сама слабость инстинкта составляет естественное преимущество человека, именно она делает его разумным существом. «...Раз человек не стал инстинктивно действующим животным, то по необходимости он должен был стать разумным существом благодаря наличию у него свободно действующей позитивной силы его души» [*Op. cit.*, 22]. В качестве компенсации за слабость инстинкта и органов чувств человек получает «преимущество свободы» [*Op. cit.*, 20]. «Он уже не бесчувственная машина в руках природы, он становится собственной целью своего совершенствования» [*Op. cit.*, 20].

Свободно размышляя и созерцая, человек способен наблюдать, сравнивать, выделять существенные свойства, отождествлять и именовать [*Op. cit.*, 23 f.]. Именно в таком смысле язык (и обретение язы-

ка) является естественной способностью человека [Op. cit., 23]; именно в этом смысле «человек преобразовался в существо, наделенное языком» [Op. cit., 43; Гердер 1959,140]. С одной стороны, Гердер отмечает отсутствие у человека врожденного языка — человек не говорит от природы. С другой стороны, язык представляется ему столь специфическим продуктом особой умственной организации человека, что он считает вправе заявить: «Теперь я могу связать вместе все концы и сразу сделать видимым тот процесс плетения, что именуется природой человека: это плетение сети языка». Решить этот кажущийся парадокс он пытается путем толкования человеческого языка как следствия слабости человеческого инстинкта.

Декарт характеризовал человеческий разум как «универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах» [Descartes 1955, 11G; цит. по: Декарт 1989, 283], поэтому он обеспечивает безграничное разнообразие свободной мысли и действия²⁶. Гердер вовсе не считает разум «умственной способностью», для него он скорее означает свободу от контроля посредством внешней стимуляции, и он пытается показать, как это «естественное преимущество» делает возможным и даже необходимым развитие языка у человека [Op. cit., 25].

Незадолго до Гердера в довольно сходных терминах охарактеризовал «рациональность» Джеймс Хэррис*: она скорее есть свобода от инстинкта, чем не-

* Хэррис Джеймс (Harris J., 1709-1786) — английский философ и лексикограф.

кая способность с неизменными свойствами Хэррис проводит различие между «человеческим принципом», который он называет «разумом» (reason), и «животным принципом», который он называет «инстинктом» Ср. следующий пассаж

«ОБРАТИМ ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ... на различие между *человеческими* и *животными* способностями — Ведущим принципом ЖИВОТНЫХ оказывается свойственное каждому виду влечение к одной-единственной цели — каковой он обычно и достигает *единообразным способом*; и этим он обычно столь же *единообразно и ограничивается* — он не нуждается ни в каких наставлениях или дисциплине, чтобы обучаться; его также нелегко *изменить* или *дать ему иное направление*. Напротив, ведущий принцип ЧЕЛОВЕКА заключается в его способности иметь бесконечное число направлений — его можно обратить к любого рода *целям* — равным образом к *любым предметам* — если им не занимаются, он остается невежественным и лишенным всякого совершенства — развиваясь, он украшается науками и искусствами — он может подвигнуть нас на то, чтобы мы превзошли не только *животных*, но и *наш собственный род* — что же касается наших *иных* сил и способностей, он может научить нас, как ими пользоваться, равно как и пользоваться телш [силами] разнообразного характера, которые мы обнаруживаем вокруг себя. Одним словом, противопоставляются два принципа — ведущий принцип человека есть многообразие, изначальная *необученность*, *податливость* и *послушание* — ведущий принцип *животных* есть *однообразие*, *изначальная обученность*, однако впо-

Творческий аспект языкового употребления

следствии в большинстве случаев *негибкость и непослушание*»²⁷.

Итак, можно утверждать, что «ЧЕЛОВЕК по своей природе есть РАЦИОНАЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ», подразумеваемая под этим лишь то, что он свободен от власти инстинкта²⁸.

Интерес к творческому аспекту языкового употребления сохраняется и на протяжении всего периода романтизма в связи с обсуждением общей проблемы истинной сути творчества в полном смысле этого слова²⁹. Характерны в этом отношении высказывания о языке А. В. Шлегеля, которые можно найти в его «Поэтике» («Kunstlehre»)³⁰. Рассматривая природу языка, он прежде всего отмечает, что речь не зависит от одних только внешних стимулов или целей. Слова языка могут, например, возбудить в говорящем и слушающем представления (Vorstellungen) о вещах, которые люди ранее не воспринимали непосредственно и знают о них лишь по словесным описаниям; есть такие вещи, которые люди «вовсе не могут воспринимать чувственно, поскольку они [эти вещи] существуют в духовном мире». Слова могут также обозначать абстрактные свойства, отношение говорящего к слушающему и к теме речи и связи между элементами последней. Комбинируя наши «мысли и представления» (Gedanken und Vorstellungen), мы используем «слова со столь тонкими оттенками значений, что философ может прийти в замешательство, пытаясь объяснить их». И тем не менее ими свободно пользуются даже необразованные и неумные люди.

«Из всего этого мы составляем речи, которые не просто сообщают другому о внешних целях, а позволяют ему заглянуть в самую глубину нашей души; с их помощью мы возбуждаем самые разнообразные страсти, подкрепляем или упраздняем решения относительно морали и побуждаем собравшуюся толпу к совместным действиям. Все самое великое и самое ничтожное, самое чудесное, неслыханное и даже невозможное и немислимое с одинаковой легкостью слетает у нас с языка».

Шлегель считает свободу от внешнего контроля или практических целей столь характерной для языка, что в другом месте³¹ он считает возможным заявить: «Все, посредством чего внутреннее находит проявление во внешнем, может по праву называться языком».

От подобных представлений о языке всего один шаг до установления связи между творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством³². Вторя Руссо и Гердеру, Шлегель называет язык «самым чудесным произведением поэтической способности человека» [Schlegel 1962, 145]. В его «Поэтике» язык предстает как «постоянно пишущаяся, меняющаяся и никогда не завершающаяся поэма всего человеческого рода» [Schlegel 1963, 226]. Поэтичность присуща обыденному употреблению языка; его невозможно депоэтизировать полностью, так что совсем невозможно будет обнаружить в нем хоть какое-то количество рассеянных повсюду поэтических элементов; они присутствуют даже в самом произвольном и холодно-рассудочном использовании языковых знаков, тем больше их можно обнаружить в повседневно-

ной жизни, в торопливой, непосредственной и часто страстной речи при обыденном общении» [*Op. cit.*, 228]. Поэтому, считает Шлегель, было бы совсем нетрудно убедить мольеровского Журдена, что он говорит и стихами, и прозой.

«Поэтичность» обыденной речи обусловлена ее независимостью от непосредственно воздействующих на нас стимулов (от «телесно воспринимаемого универсума»), свободой от практических целей. Эти качества языка, а также безграничность его возможностей как инструмента свободного самовыражения — как раз те его свойства, которые особо выделял Декарт и его последователи. Однако было бы интересно подробнее рассмотреть аргументацию Шлегеля, когда он устанавливает связь между тем, что мы назвали творческим аспектом языкового употребления, и подлинным творчеством. Выразительный потенциал искусства, как и языка, безграничен³³. Однако Шлегель полагает, что поэзия в этом отношении занимает особое место среди прочих искусств; в некотором смысле она лежит в основе всех иных видов искусства и представляет собой главную и наиболее типическую его форму. Когда мы используем слово «поэтичность», говоря о достоинствах подлинно художественного произведения, принадлежащего любой области искусства, мы тем самым признаем уникальный статус поэзии. Центральное место, занимаемое поэзией, объясняется ее связью с языком. Поэзия уникальна в том отношении, что само ее средство безгранично и свободно; иными словами, ее средство — язык — представляет собой систему с неограниченным потенциалом инноваций, используемых для формиро-

вания и выражения мысли. Созданию любого произведения искусства предшествует творческий мыслительный процесс, и средства для его осуществления доставляет язык. Таким образом, творческое использование языка, в результате которого при определенных формах организации возникают поэтические произведения ([ср.: *Op. cit.*, 231]), сопровождает и определяет любой акт творческого воображения независимо от того, с помощью какого средства оно находит выражение. Поэтому поэзия наделяется уникальным статусом среди остальных видов искусства, а художественное творчество оказывается соотношенным с творческим аспектом языкового употребления³⁴. Сравните с этим третью разновидность разума, выделенную Уарте (см. прим. 9).

Различие между языком человека и языком животных Шлегель проводит в типично картезианском духе. Так, он отмечает, что языковые способности человека невозможно объяснить «предрасположением его органов».

«Различные виды животных в определенной степени разделяют это свойство с ним [человеком] и способны, хотя и совершенно механически, научиться говорить. Посредством принуждения и частого повторения их органы побуждаются к определенным движениям; однако они никогда не употребляют выученные слова самостоятельно (даже если кажется, что они поступают именно так), чтобы обозначить ими что-либо, поэтому их речь столь же мало походит на настоящую, как и речь, порождаемая говорящей машиной»

[*Op. cit.*, 236].

Между умственными функциями человека и животных невозможны никакие аналогии. Животные живут в мире «обстоятельств» (Zustande), а не «предметов» (Gegenstande) в человеческом смысле этих слов (то же отчасти верно и в отношении маленьких детей, чем объясняется сбивчивость и непоследовательность даже самых живых воспоминаний детства). У Шлегеля «животная зависимость» (tierische Abhängigkeit) резко противопоставлена «принципу самодеятельности» (selbsttätige Prinzip), принципу «разумного произвола» (verständige Willkür), характерного для умственной жизни человека. Именно этот принцип лежит в основе человеческого языка. Он заставляет искать последовательность и единство в опытных данных, сравнивать чувственные впечатления (а это требует наличия тех или иных ментальных знаков), он также обуславливает уникальную человеческую способность и потребность «обозначать посредством языка также и то, что никак не может быть дано в чувственной наглядности». В результате мы имеем человеческий язык, который служит прежде всего «органом мысли, средством осознания самого себя» и только во вторую очередь «взаимообщению» [Op. at, 237-241].

Творческий аспект языкового употребления как основополагающее свойство человеческого языка, которому уделялось столь большое внимание в картезианской лингвистике, с особой силой проявился в попытке создания всеобъемлющей теории общего языкознания, предпринятой Гумбольдтом³⁵. Когда Гумбольдт характеризует язык скорее как *energeia* (Thatigkeit 'деятельность'), а не как *ergon* (Werk 'продукт деятельности')³⁶, как «созидающий процесс» (eine

Erzeugung), а не как «мертвый продукт» (ein todes Erzeugtes) [цит. по: Гумбольдт 2000, 69-70], он расширяет и развивает, часто используя почти те же самые слова, формулировки, типичные как для картезианской лингвистики, так и для философии языка и эстетической теории романтиков. Для Гумбольдта единственно верное определение языка может быть только «генетическим» (eine genetische): «Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся *работу духа*, направленную на то, чтобы сделать *членораздельный звук*³⁷ пригодным для выражения мысли» [Humboldt 1960, 57; Гумбольдт 2000, 70; цит. с изм.]. «Работу духа» определяет постоянный и единообразный фактор, который Гумбольдт назвал «формой» (Form) языка³⁸. В языке неизменны лишь глубинные законы порождения, в то время как цели и способы осуществления порождающих процессов при актуальном производстве речи (или при ее восприятии, которое Гумбольдт рассматривал как деятельность, частично сходную с производством речи; см. ниже, с. 139-142) совершенно не детерминированы (см. прим. 37).

Понятие формы включает в себя «правила словосочетания» (Regeln der Redefügung), а также «правила словообразования» (Wortbildung) и правила образования понятий, определяющих класс «основ» (Grundwörter) [Op. cit., 61; Там же, 72]. В противоположность этому «материя» (Stoff) языка представляет собой нечленораздельные звуки и «совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [Op. cit., 61; Там же, 72-73]. Форма языка — это систематическая структура. В ней

нет индивидуальных элементов, выступающих изолированно; они входят в структуру лишь в той мере, в какой в них может быть обнаружен «единый способ образования языка» [*Op. cit.*, 62; *Там же*, 73].

Неизменные механизмы, которые в своей систематической и единой репрезентации образуют форму языка, должны наделять ее способностью порождать бесконечный репертуар речевых событий, соответствующих условиям, налагаемым мыслительными процессами. Языковая сфера бесконечна и беспредельна, она составляет «совокупность всего мыслимого» (*Inbegriff alles Denkbaren*) [*Op. cit.*, 122; *Там же*, 110]. Следовательно, основополагающее свойство языка должно заключаться в возможности употребления конечного числа определенных механизмов в неограниченном количестве ситуаций, которые нельзя предусмотреть заранее. «Поэтому она [языковая практика] должна бесконечно использовать конечный набор средств, и она добивается этого благодаря идентичности сил, порождающих мысль и язык» [*Op. cit.*, 122; *Там же*, ПО].

По мнению Гумбольдта, лексику языка также нельзя рассматривать как «готовую, застывшую массу» [*Там же*, 112]. Даже если отвлечься от образования новых слов, использование лексики говорящим или слушающим предполагает «развивающийся и вновь воспроизводящийся продукт словообразовательной потенции» [*Op. cit.*, 125-126; *Там же*, 112]. Это верно как в отношении эпохи возникновения языка, так и в отношении процесса овладения языком детьми; то же самое можно сказать и по поводу повседневного пользования речью (см. прим. 25). Таким образом, для Гумбольдта лексикон — это не хранящийся в па-

мяти список, из которого просто извлекаются слова при пользовании языком («Никакая человеческая память не смогла бы обеспечить этого [безошибочного использования в речи необходимого в каждый данный момент слова], если бы душа одновременно не содержала бы в себе некий инстинкт, предоставляющий ей ключ к образованию слов» [*Там же*, 112; цит. с изм.]), а как нечто, основанное на определенных организационных принципах порождения, в соответствии с которыми производятся подходящие для данного случая языковые единицы. Исходя из этого положения, он развивает свою хорошо известную теорию, согласно которой (говоря современными терминами) понятия организованы в виде «семантических полей», и свою «значимость» (value) они получают в соответствии с принципами, лежащими в основе данной системы.

Речь — орудие мысли и самовыражения. Она играет «имманентную» и «конструктивную» роль, определяя природу когнитивных процессов в человеке, его «мыслящую и в мышлении творящую силу» [*Op. cit.*, 36; *Там же*, 58], его «миросозерцание» (Weltanschauung) и процессы «сцепления мыслей» (Gedankenverknüpfung) [*Op. cit.*, 50; *Там же*, 67]. В целом можно сказать, что человеческий язык есть организованная целостность, которая помещается между человеком и «природой, воздействующей на него изнутри и извне» [*Op. cit.*, 74; *Там же*, 80]. Хотя языки обладают универсальными свойствами, обусловленными особенностями человеческого интеллекта как такового, тем не менее в каждом языке содержится особый «мыслимый мир», свой особый взгляд на вещи. Разумеется, наделяя отдельные языки подобной ролью в детерми-

нировании мыслительных процессов, Гумбольдт радикальным образом отходит от положений картезианской лингвистики и занимает позицию, гораздо более характерную для романтиков.

Однако, когда Гумбольдт заявляет, например, что человек «окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей» [*Op. cit.*, 70; *Там же*, 80], он остается в рамках картезианской лингвистики, поскольку рассматривает язык прежде всего как орудие мышления и самовыражения, а не как функциональную коммуникативную систему вроде той, что имеется у животных. Уже в своих истоках язык «распространяется на все предметы, с какими сталкивается чувственное восприятие и внутренняя обработка последнего» [*Op. dt.*, 75; *Там же*, 75]. Гумбольдт считает ошибочным мнение, будто язык возникает в первую очередь из потребности во взаимопомощи. «Человек не так уж беззащитен, и для организации взаимопомощи хватило бы нечленораздельных звуков» [*Op. dt.*, 75; *Там же*, 81]. Разумеется, язык может использоваться в чисто практических целях, когда, например, кто-то приказывает спилить дерево и «при произнесении слова не думает ни о чем ином, кроме как о стволе» [*Op. dt.*, 220]*. Однако те же самые слова могут иметь и «возросшую значимость» [*Там же*, 170], когда они используются, например, для описания природы или в поэзии; тогда словами пользуются не просто как орудиями или в чисто референциальной функции,

* В цитируемом русском переводе соответствующий пассаж передан несколько по-иному; см. [*Там же*, 170].

они не употребляются «односторонне... в обособленной сфере деятельности для ограниченных целей»*, но соотносятся с «внутренней совокупностью мыслительных связей и чувств» [Ор. cit., 221; Там же, 170]. Только в последнем случае, когда привлекаются все языковые ресурсы для порождения или истолкования речи, все аспекты лексической и грамматической структуры высказывания в полной мере способствуют его интерпретации. Чисто практическое использование характерно не для реально существующих человеческих языков, а для искусственных паразитарных систем³⁹.

Оригинальная разработка понятия «формы языка» как некоего устойчивого и неизменного принципа порождения, определяющего способы осуществления безграничного спектра индивидуальных «творческих» актов, которые составляют суть нормального языкового употребления, является значительным вкладом Гумбольдта в лингвистическую теорию. К сожалению, этот вклад не был оценен по достоинству и до недавнего времени никак не использовался⁴⁰. Значимость теории Гумбольдта можно оценить, если, например, сравнить его понятие «формы» с тем же понятием у Хэрриса в его трактате «Гермес» (1751). Для Хэрриса язык — это прежде всего система слов. Их значения (символизируемые ими понятия) образуют форму языка, а их звучание — материю (субстанцию). Понятие формы у Хэрриса следует классическому образцу, в его основе лежит представление о внешнем виде, упоря-

* Выделено Н. Хомским.

доченности. Однако в сочинении Хэрриса о языке нет и намек на то, что описание языковых форм должно быть чем-то большим, чем выделение элементов, категорий и установление связей между «элементами содержания» и «элементами выражения». Иными словами, мы не обнаруживаем у него того гораздо более глубокого проникновения в сущность языка, которое характерно для Гумбольдта; последний смотрел на язык не просто как на «шаблонную организацию» различного рода элементов; адекватное описание языка, по Гумбольдту, заключается в соотношении этих элементов с системой порождающих принципов, число которых ограничено; эти принципы определяют вид конкретных языковых элементов и их взаимосвязи, они лежат в основе бесконечного разнообразия осмысленных языковых актов, какие только могут быть осуществлены⁴¹.

Разработку Гумбольдтом понятия «формы языка» следует рассматривать на фоне той оживленной дискуссии по поводу различия между «механической формой» и «органической формой», которая велась в период романтизма. А. В. Шлегель различал их следующим образом:

«Форма является механической, когда под воздействием внешней силы она запечатлевается на любом материале исключительно как случайное добавление без всякой связи с его качеством; например, когда мы придаем определенные очертания мягкой массе, которые она может сохранять в неизменности после отвердения. Органическая же форма врожденная; она развертывает-

ся изнутри, приобретает определенность одновременно с полным развитием зародыша»⁴².

В пересказе Колриджа* это звучит так:

«Форма является механической, когда на данном материале мы запечатлеваем заранее определенную форму, которая не обязательно проистекает из свойств материала; например, когда массе сырой глины мы придаем любую форму и хотим, чтобы она сохранилась после ее отвердения. Органическая же форма — врожденная; по мере своего развития она формируется изнутри, и полнота ее развития совпадает с совершенством ее внешней формы. Какова жизнь, такова и форма. Природа, этот наипервейший гениальный художник, обладающий неисчерпаемым разнообразием способностей, столь же неисчерпаема и в своих формах; любая внешность — это облик того, что внутри, его верный образ, отражаемый и отбрасываемый от вогнутого зеркала...»

В обоих случаях контекстом этих высказываний служит исследование, направленное на то, чтобы выяснить, каким образом индивидуальные творения гения ограничиваются неким правилом и законом. Гумбольдтовское понимание «органической формы» языка и ее роли в определении облика индивидуальных речевых порождений является естественным побочным продук-

* *Колридж* или *Колридж Самюэл Тейлор* (Coleridge S. N., 1772-1834) — английский поэт-романтик, философ и литературный критик.

том дискуссии по поводу различий между органической и механической формой, в частности, в аспекте ранее обнаруженной связи между художественным творчеством и творческим аспектом языкового употребления (ср. выше, с. 46–48)⁴⁴.

Столь же примечательны схождения между гумбольдтовским понятием «органической формы» в языке и разработанной намного раньше биологической теорией «праформы» (Urform) Гёте⁴⁵. Понятие «праформы» было введено в качестве нового аспекта понятия формы, наряду со «статической» ее концепцией, представленной, например, в трудах Линнея и Кювье (имеется в виду понятие формы как структуры и организации). Однако, по крайней мере на одном из этапов развития своих идей, Гёте стал рассматривать праформу как явление скорее логического, чем временного порядка. В письме к Гердеру (1787) Гёте писал:

«Прарастение станет самым чудесным творением мира, и сама природа должна мне завидовать по этому поводу. С этой моделью и с ключом к ней можно затем без конца придумывать новые растения, обязательно сохраняя последовательность; иными словами, даже если эти растения не существуют, то все же могли бы существовать, являя собой не призраки и иллюзии живописи или поэзии, а нечто, обладающее внутренней истинностью и необходимостью. Тот же закон можно распространить на все остальные живые существа»⁴⁶.

Таким образом, праформа — это нечто вроде порождающего принципа, который определяет класс физически возможных организмов. Разрабатывая это понятие,

Гёте постарался сформулировать принципы внутренней упорядоченности и единства, которые характеризуют данный класс и которые можно определить как неизменный фактор, постоянно действующий помимо всех поверхностных модификаций, обусловленных разнообразием внешних условий среды (см. [*Magnus 1949*, chap. 7], где содержатся соответствующие сведения). Подобным же образом «языковая форма» Гумбольдта накладывает ограничения на все индивидуальные акты производства и восприятия речи на данном языке; в более общем плане универсальные свойства грамматической формы определяют класс возможных языков⁴⁷.

Наконец, следует указать на необходимость рассматривать гумбольдтовскую концепцию языка на фо-

социально-политическую теорию⁴⁸, а также учитывать его понимание природы человека, лежащее в основе этой теории. Гумбольдта называют «самым известным в Германии сторонником» доктрины естественных прав

Высказываясь против чрезмерности государственной власти (и против любого рода догматизма в вопросах веры), он выступает защитником основополагающего права человека на развитие своей индивидуальности посредством осмысленного творческого труда и ничем не ограниченной мыслительной деятельности:

«Необходимым условием всего этого является свобода, без нее даже самое одухотворенное занятие не может оказать благотворного действия. То, что человек не выбрал сам, в чем он ограничен и только руководим, не переходит в его существо, остается для

Творческий, аспект языкового употребления

него вечно чужим; он совершает свое дело, основываясь не на человеческой силе, а на механическом умении»

[цит. по: Cowan 1963, 46—47;

цит. по: Гумбольдт 1985, 40].

«[При условии независимости от внешнего контроля] можно было бы, пожалуй, сделать всех крестьян и ремесленников *художниками*, то есть людьми, которые любят свои занятия ради них самих, совершенствуют их собственными силами и собственной изобретательностью и тем самым культивируют свои интеллектуальные силы, облагораживают свой характер и увеличивают свои наслаждения. Тогда человечество облагораживалось бы теми самыми занятиями, которые теперь, как бы хороши они ни были сами по себе, часто служат средством унижить его»

[Op. cit., 45; Там же, 39].

Стремление к самореализации — основная человеческая потребность (противоположная его чисто животным потребностям). Кто же отказывается признать это, «вызывает, и не без основания, подозрение в том, что он не ценит людей и хочет превратить их в машины» [Op. cit., 42; Там же, 42]. Однако государственный контроль несовместим с этой потребностью человека. По необходимости он носит принудительный характер, а потому «он создает *однообразие* и чуждый нации образ действий (so bringt er Einförmigkeit und eine fremde Handlungsweise)» [Op. cit., 41; Там же, 36]. Вот почему «истинный разум не может желать человеку никакого другого состояния, кроме того, при котором... каждый отдельный человек пользуется самой полной свобо-

дои, развивая изнутри все свои своеобразные особенности» [*Op. cit.*, 39; *Там же*, 34]. Исходя из тех же соображений, он указывает на то, «насколько многообразен вред, возникающий из ограничения свободы мысли» [*Там же*, 73], и говорит «о вреде любого положительного содействия распространению религии со стороны государства» [*Op. cit.*, 30-31; *Там же*, 73]. Столь же отрицательно он оценивает вмешательство государства в сферу высшего образования [*Op. cit.*, 133 f.], его попытки регулировать любого рода личные отношения (например, брачные [*Op. cit.*, 50]) и т.д. Более того, права, о которых идет речь, — это подлинно человеческие права, и они не могут быть принадлежностью «немногих избранных» [*Там же*, 25]. «В самой мысли — отказать какому бы то ни было человеку в праве быть человеком — заключено нечто удивительное для человеческого достоинства в целом» [*Op. cit.*, 33; *Там же*, 75]. Чтобы выяснить, соблюдаются ли основополагающие права, мы должны обращать внимание не на то, что человек делает, а на те условия, в которых он это делает: контролируются ли его поступки извне или же они спонтанны и преследуют удовлетворение некой внутренней потребности. Если же человек совершает свои действия абсолютно механически, то «мы можем восхищаться тем, что он делает, но мы презираем его как такового» [*Op. cit.*, 37]⁵⁰.

Теперь понятно, почему Гумбольдт ставит акцент на спонтанном и творческом аспекте языковой деятельности. Поступая так, он исходит из гораздо более общего понятия «человеческой природы»; не он первый ввел это понятие, но он значительно развил его, дав ему оригинальную трактовку.

Как мы отметили выше, попытка Гумбольдта выявить органическую форму языка — порождающую систему правил и принципов, определяющих каждый ее отдельный элемент — оказала незначительное влияние на современное языкознание за одним примечательным исключением. Типичный для структурализма подход к языку как к «системе, в которой все взаимосвязано» (*un système où tout se tient*), по крайней мере в концептуальном плане является непосредственным следствием интереса Гумбольдта к органической форме. Для Гумбольдта язык не масса изолированных феноменов — слов, звуков, индивидуальных продуктов речи и т.д., а «организм»; в нем все части взаимосвязаны, и роль каждого элемента определяется его отношением к процессам порождения, которые составляют глубинную форму. В современном языкознании с его почти исключительным вниманием к инвентарю элементов и к неизменным «моделям» сфера действия «органической формы» гораздо уже, чем в концепции Гумбольдта. Однако и в этих более узких рамках понятие «органической взаимосвязи» было развито и применено к языковому материалу таким образом, что результаты далеко превосходят все, что можно найти у Гумбольдта. Главная посылка современного структурализма заключается в том, что «фонологическая система [в частности] — это не механическая сумма изолированных фонем, а органическое целое, по отношению к которому фонемы являются его членами, а его структура подчинена определенным законам» [*Troubetzkou* 1933, 245]. Подобного рода разработки старых идей достаточно хорошо известны, и я не стану больше говорить о них.

Мы уже говорили выше, что у Гумбольдта форма языка включает в себя правила синтаксиса и словообразования, а также систему звуков и правила, определяющие систему понятий, которые образуют лексикон языка. Кроме того, он проводит различие между формой языка и тем, что он называет его «характером». Судя по тому, как он употребляет этот термин, характер языка, по-видимому, определяется способом использования языка, в частности, в поэзии и философии; поэтому «внутренний характер» [Humboldt 1960, 208] языка следует отличать от его синтаксической и семантической структуры, которые имеют отношение к форме языка, а не к его употреблению. «Без всякого изменения языка в его звуковом составе, а также в его формах и законах, время благодаря ускоренному развитию идей, нарастанию мыслительной силы и углублению и утончению чувственности часто придает ему черты, которыми он раньше не обладал» [Op. cit., 116; цит. по: Гумбольдт 2000, 106]. Поэтому выдающийся писатель или мыслитель может изменить характер языка и обогатить его выразительные возможности, не затрагивая грамматической структуры. Характер языка тесно связан с другими компонентами национального характера и представляет собой в высшей степени индивидуализированное явление. Для Гумбольдта, равно как и для его предшественников-картезианцев и романтиков, нормальное употребление языка в типичном случае предполагает творческую мыслительную деятельность, однако именно характер языка, а не его форма отражает подлинную «созидательность» в высоком смысле этого слова, то есть создание новых ценностей.

При всем своем интересе к творческому аспекту языкового употребления и к форме как процессу порождения Гумбольдт так и не попытался ответить на самый главный вопрос: что же представляет собой в действительности «органическая форма» языка? Насколько можно судить, у него не было намерений построить частные порождающие грамматики или определить общий характер той или иной языковой системы; не пытался он и определить универсальную схему, по которой строится любая частная грамматика. В этом отношении его труды по общему языкознанию не доходят до уровня, достигнутого некоторыми из его предшественников, в чем мы скоро убедимся. Недостатком его трудов является также неясность в решении некоторых фундаментальных проблем; в частности, это касается различия между созидательной работой, которая подчиняется правилам и составляет нормальное употребление языка, никоим образом не изменяющее его форму, и такими инновациями, которые приводят к модификации грамматической структуры языка. Эти недостатки были замечены и частично преодолены в позднейших исследованиях. Более того, когда Гумбольдт обращается к порождающим процессам в языке, часто остается неясным, что он имеет в виду: глубинную компетенцию или исполнение — первую или вторую степени действительности формы у Аристотеля («О душе», кн. II, гл. 1)*. Это классическое различие было вновь взято на вооружение в современных

* Имеется в виду различие между обладанием знанием и его действительным осуществлением. См. [Аристотель 1975, 394].

исследованиях (см. прим. 2 и данные там ссылки на литературу). Понятие генеративной грамматики в современном смысле этого термина можно считать развитием гумбольдтовского понятия «формы языка», если только понимать последнюю как форму в смысле «обладания знанием», а не в смысле «действительного осуществления знания», выражаясь аристотелевскими терминами (см. прим. 38).

Между прочим, следует отметить, что отсутствие точных формулировок правил построения предложений не просто недосмотр картезианской лингвистики. В определенной мере это было следствием явно выраженной исходной посылки, согласно которой порядок слов в предложении прямо соответствует ходу мысли, по крайней мере в «хорошо сконструированном» (well-designed) языке⁵¹, а потому он не может изучаться как часть собственно грамматики. В «Общей и рациональной грамматике» утверждается, что, исключая образное употребление языка, грамматист мало что может сказать по поводу правил построения предложений [*Lancelot, Arnauld* 1660, 145]. В опубликованной немного позже «Риторике» Б.Лами* отсутствие рассмотрения «порядка слов и правил, которых следует придерживаться при построении речи» оправдывается тем, что «естественный свет [разума] столь живо показывает, что надо делать», что не требуется никаких дальнейших уточнений [*Lamy* 1676, 25]⁵².

**Лами Бернар* (Lamy B., 1640-1715) — французский философ-картезианец. О «Риторике» Б.Лами см. книгу: *Е.Л.Пастернак*. «Риторика» Лами в истории французской филологии. М.: Языки славянской культуры, 2000. — *Прим. ред.*

Примерно в то же время епископ Вилкинс* провел различие между теми конструкциями, которые стали просто «привычными» (*customary*), например, *take one's heels and fly away* 'пуститься наутек', *hedge a debt* 'увиливать от уплаты долга', *be brought to heel* 'покориться' и т. п.), и теми, которые следуют «естественному направлению и порядку слов» и, стало быть, не требуют специального рассмотрения [*Wilkins* 1668, 354]; в пример приводится порядок расстановки субъекта, предиката и объекта или субъекта, связки и прилагательного или же место «грамматических» и «трансцендентальных» частиц по отношению к управляющим ими единицам [*Op. cit.*, 354].

Вере в «естественный порядок слов» противостоит мнение, что любой язык состоит из произвольного набора «моделей» (*patterns*), которые заучиваются посредством постоянного повторения (и «обобщения»), и таким образом возникает набор «речевых навыков» или «предрасположений». Многие современные исследователи языка и языкового поведения верят в то, что языковую структуру и языковое употребление можно каким-то образом описать именно в таких терминах; этой вере часто сопутствует отрицание возможности полезных межъязыковых обобщений в синтаксисе (см. выше, с. 38). Подобные взгляды, как и предположение о существовании естественного порядка слов, привели к игнорированию проблемы определения «грамматической формы» конкретных языков или

* *Вилкинс Джон* (*Wilkins J.*, 1609 или 1614-1672) — английский епископ, один из основателей Лондонского королевского общества.

построения общей абстрактной схемы, которой должен соответствовать каждый язык⁵³.

Подводя итоги, можно сказать, что одним из основных достижений лингвистики, названной нами «картезианской», является осознание того, что человеческий язык в его нормальном употреблении свободен от контроля со стороны выделяемых независимо друг от друга внешних стимулов или внутренних состояний и не ограничен какой-либо практической коммуникативной функцией в противоположность, например, псевдоязыку животных. Таким образом, язык можно свободно использовать в качестве орудия ничем не ограниченного мышления и самовыражения. Безграничные возможности мышления и воображения находят отражение в творческом аспекте языкового употребления. Язык предоставляет конечные средства, но бесконечные возможности выражения, ограниченные лишь правилами формирования понятий и предложений; одни из этих правил носят частный и идиосинкразический характер, другие же универсальны и являются общим достоянием человечества. Форма каждого языка, определяемая конечным числом процедур (в современных терминах — его генеративная грамматика; см. прим. 38), представляет собой «органическое единство», в котором все базовые элементы языка оказываются связанными между собой; оно лежит в основе каждой из индивидуальных языковых манифестаций, число которых потенциально бесконечно.

В течение всего рассматриваемого периода господствовало мнение, что «языки — это поистине лучшее зеркало человеческого духа» [цит. по: *Лейбниц* 1983, 338]⁵⁴. Именно фактическое отождествление

языковых и мыслительных процессов делает возможным проведение картезианского теста на наличие разума у других людей, о чем мы говорили выше. То же самое наблюдается и в течение всего романтического периода. Для Ф. Шлегеля «дух и язык столь нераздельны, мысль и слово столь существенно едины, что мы, рассматривая мысль как специфическую прерогативу человека, могли бы назвать и слово в его внутреннем смысле и достоинстве изначальной сущностью человека» [цит. по: *Шлегель* 1983, 294]⁵⁵. Мы уже приводили мнение Гумбольдта о том, что сила, порождающая язык, неотличима от силы, порождающей мысль. Это мнение и впоследствии находило поддержку в течение определенного времени⁵⁶, однако, чем ближе к современности, тем реже оно высказывается.

Следует отметить, что связь между языком и мышлением понималась весьма различно в первой и последней фазе рассматриваемого периода. Первоначально высказывалось мнение, что структура языка столь верно отражает природу мышления, что «наука о речи ничем не отличается от науки о мышлении» [*Beauzée* 1819, x]⁵⁷; этим фактом объясняется и творческий аспект языкового употребления⁵⁸. Однако затем положение о том, что язык служит орудием мышления, получает новую формулировку: по отношению к мышлению язык выполняет конститутивную функцию. Так, Ламетри, исследуя, каким образом мозг сравнивает и соотносит между собой различаемые им образы, приходит к следующему выводу: устройство мозга таково, что, после того как знаки предметов и их различий «уже отмечены или запечатлены в мозгу, душа неизбежно начинает исследовать их взаимо-

отношение⁵⁹; последнее, однако, было бы невозможно без открытия знаков, или изобретения языков» [*La Mettrie* 1960, 105; цит. по: *Ламетри* 1983, 192]. Дообретения языка вещи могли восприниматься лишь неясным или поверхностным образом. Мы уже приво-дили мнение Гумбольдта о том, что «человек преимуще-ственно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представ-лений, — живет с предметами так, как их преподно-сит ему язык» [*Humboldt* 1960, 74; цит. по: *Гумбольдт* 2000, 80]. Под влиянием нового релятивизма роман-тиков концепция языка как конститутивного орудия мышления претерпевает значительное изменение, и те-перь выдвигается и подвергается проверке положение о том, что языковые различия могут обуславливать различия в мыслительных процессах и даже делать их несопоставимыми⁶⁰. Однако развитие идей в этом направлении не имеет отношения к главной теме на-шей книги; современные изыскания в данной области известны, и я не буду на них останавливаться.

**Глубинная
и поверхностная
структура**

Итак, мы установили, что анализ творческого аспекта использования языка основан на предположении о том, что языковые и мыслительные процессы в действительности тождественны; язык доставляет нам первичные средства для свободного выражения мыслей и чувств, а также для функционирования творческого воображения. Значительная часть конкретных вопросов грамматики решалась исходя из этого предположения на протяжении всего периода существования того направления мысли, которое мы назвали «картезианской лингвистикой». В «Грамматике» Пор-Рояля, например, обсуждение вопросов синтаксиса начинается с замечания о том, что существуют три операции нашего рассудка: представлять себе что-либо (*con-sevoir*), судить о чем-либо (*juger*), умозаключать что-либо (*raisonner*) [*Lancelot, Arnauld* 1660, 27; цит. с изм. по: *Арно, Лансло* 1991, 29; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 90]. Третья операция не имеет отношения к грамматике (она рассматривается в «Логике» Пор-Рояля, вышедшей в свет двумя годами позже, в 1662 г.). Исходя из того способа, каким понятия соединяются в суждения, авторы «Грамматики» заключают, какой должна быть общая форма любой возможной грамматики, и эту уни-

версальную глубинную структуру они устанавливают на основе наблюдений над «естественными способами выражения наших мыслей» [*Op. cit.*, 30; ср.: Арно, Лансло 1990, 30; 1991, 93]⁶¹. Многие последующие попытки уточнить схему универсальной грамматики следовали в том же направлении.

Джеймс Хэррис в трактате «Гермес», в котором мы не обнаруживаем обычного для мыслителей XVIII в. влияния «Грамматики» Пор-Рояля, также исходит из структуры мыслительных процессов, чтобы выводить заключения относительно структур языка, но делает это несколько иным образом. В целом он считает, что, когда человек говорит, «его речь, или дискурс, является *преданием гласности некоторой активности или движения его души*» [*Harris* 1801, I, 223]⁶². Существуют два общих типа «способностей души»: восприятие (осуществляемое посредством органов чувств и разумом) и воление (желания, страсти, потребности — «все, что побуждает к действию, рациональному или иррациональному») [*Op. cit.*, 224]. Отсюда следует, что существует два вида языковых актов; один из них — это утверждение, то есть «предание гласности некоторого акта восприятия, осуществленного или органами чувств, или разумом», другой — «предание гласности волений», то есть вопрос, приказ, мольба или выражение желания [*Op. cit.*, 224]. Первым типом предложений мы пользуемся для того, чтобы «заявить о себе другим», вторым типом — чтобы побудить других удовлетворить нашу потребность. Продолжая рассуждать подобным же образом, мы можем анализировать выражения волеизъявления с точки зрения

того, заключается ли потребность в том, чтобы «органы чувств получили сведения», или в том, чтобы некое «волеизъявление было исполнено» (это модус вопроса и требования соответственно). Далее, модус требования распадается на повелительный и просительный в зависимости от того, обращено ли высказывание к нижестоящим или к вышестоящим. Поскольку и вопросительное высказывание, и высказывание требования используются «для удовлетворения потребности», оба типа «требуют отклика» — отклика словами или делами на требование и одними только словами на вопрос [*Op. cit.*, 293 f.]⁶³. Таким образом, рамки анализа типов предложений задаются определенного рода анализом мыслительных процессов.

Характерным для картезианской лингвистики является выделение в языке двух аспектов в соответствии с фундаментальным различием между телом и душой. В частности, языковые знаки можно изучать как с точки зрения составляющих их звуков, так и представляющих их букв, или же с точки зрения их «значения», то есть «способа, каким люди используют их для означения своих мыслей» [*Lancelot, Arnauld* 1660, 5; цит. по: *Арно, Лансло* 1990, 71]. В похожих терминах формулирует свои задачи и Кордемуа: «В своем рассуждении я четко различаю все, что она [la parole 'речь'] воспринимает от души, и все то, что она заимствует у тела» [*Cordemois* 1677, Предисловие]. Подобным же образом и Лами начинает свою «Риторику» с различения, проводимого между «душой слов» (то есть, между «тем, что в них есть духовного», «тем, что нам свойственно» — способностью выражать «идеи»), и их телом («тем, что в них есть телесного», «тем,

Глубинная и поверхностная структура

что птицы, подражающие человеческому голосу, имеют общим с нами», а именно «звуками, которые суть знаки их идей»).

Короче говоря, у языка есть две стороны — внутренняя и внешняя. Предложение можно изучать с точки зрения того, каким способом оно выражает мысль, и с точки зрения его физического облика, иными словами, в плане его семантической или фонетической интерпретации.

Используя новейшую терминологию, мы можем сформулировать проведенное различие как различие между «глубинной структурой» предложения и его «поверхностной структурой». Первая есть базисная абстрактная структура, определяющая семантическую интерпретацию предложения; вторая есть поверхностная организация единиц, которая определяет его фонетическую интерпретацию и связана с физической формой реального высказывания, с его воспринимаемой или производимой формой. В этих терминах мы можем сформулировать второе фундаментальное положение картезианской лингвистики, а именно: глубинная и поверхностная структуры не обязательно должны быть тождественными. Базисная организация предложения, важная для его семантической интерпретации, не обязательно непосредственно обнаруживается в реальной расстановке и группировке его конкретных компонентов.

Эта точка зрения проведена с особой последовательностью в «Грамматике» Пор-Рояля; в ней впервые получил развитие картезианский подход к языку, причем сделано это весьма пронизательно и тон-

ко⁶⁴. Основная форма мышления (но не единственная, см. ниже, с. 87) — это суждение; в нем утверждается нечто о чем-то. Языковым выражением суждения является предложение; его двумя термами являются «*субъект*, который есть то, о чем что-то утверждается», и «*атрибут*, который есть то, что утверждается» [Lancelot, Arnauld 1660, 29; ср.: Арно, Лансло 1990, 92; 1991, 30]. Субъект и атрибут могут быть *простыми*, например, *La terre est ronde* 'Земля круглая', или *сложными* (composé), например, *Un habile Magistrat est un homme utile à la République* 'Способный чиновник есть человек, полезный для общества' или *Dieu invisible a créé le monde visible* 'Невидимый Бог создал видимый мир' [ср.: Арно, Лансло 1990, 129-130; 1991, 50, 51]. Более того, в подобных случаях сложный субъект и сложный атрибут заключают в себе отдельные суждения.

«Среди предложений, в которых как субъект, так и атрибут состоят из нескольких слов, встречаются предложения, содержащие, по крайней мере в нашем сознании (dans nostre esprit), несколько суждений, каждое из которых можно превратить в отдельное предложение. Когда я говорю *Dieu invisible a créé le monde visible* „Невидимый Бог создал видимый мир“, в моем сознании имеют место три суждения, заключенные в приведенном предложении. Ибо, во-первых, я выношу суждение, что Бог — невидим; во-вторых, что он создал мир, и, в-третьих, что мир — видим. Из этих трех предложений главное — второе; именно оно содержит самое существенное в рассматриваемом предложении, а первое и третье всего лишь привходящи, т. е. явля-

Глубинная и поверхностная структура

ются частями главного; первое составляет его субъект, а последнее — атрибут» [Ор. *cit.*, 68]*.

Иными словами, глубинная структура, лежащая в основе предложения *Dieu invisible a créé le monde visible*, состоит из трех абстрактных предложений**, каждое из которых выражает некое простое суждение, хотя поверхностная форма данного предложения является выражением всего лишь субъектно-атрибутивной структуры. Разумеется, эта глубинная структура только подразумевается, она не находит своего выражения, целиком оставаясь в нашем сознании:

«Из приведенного примера [т. е. *Dieu invisible a créé le monde visible*] видно, что подобные привходящие предложения (*propositions incidentes*)*** нередко

* Цит. по [Арно, Лансло 1991, 51] со смысловыми и стилистическими изменениями, направленными на более точную передачу особенностей оригинала; [ср.: Арно, Лансло 1990, 130].

** Здесь и далее Н. Хомский использует неоднозначный термин *proposition* 'неутверждаемое суждение', «семантическое предложение», «пропозиция», который мы переводим по контексту, отказавшись от термина «пропозиция» в применении к грамматике Пор-Рояля по стилистическим соображениям; кроме того, во французском тексте слово *proposition* означает обычное предложение, в каком-то значении это слово встречается и в английском тексте.

*** Данный перевод предложен в [Арно, Лансло 1991, 51] наряду с описательным переводом «предложение с относительным местоимением» [*Tam же*], который используется также в [Арно. Лансло 1990].

присутствуют в нашем уме, не будучи выражены словесно»

[Op. cit., 68; ср.: Арно, Лансло 1990, 130; 1991, 51].

Иногда глубинная структура находит более явное выражение в поверхностной форме: Приведенный выше пример я могу перестроить следующим образом. *Dieu QUI est invisible a créé le monde QUI est visible* «Бог, который невидим, создал мир, который видим» [Op. cit., 68-69; цит. по: Арно, Лансло 1991, 51; ср.: Арно, Лансло 1990, 130-131]. Как бы то ни было, реальность глубинной структуры — это скрытая ментальная реальность, нечто вроде мысленного аккомпанемента высказывания независимо от того, соответствует ли ей поверхностная форма произносимого высказывания простым, одно-однозначным образом или нет.

В общем случае конструкции, состоящие из существительного и другого существительного в приложении или из существительного и прилагательного или причастия, имеют в своей основе глубинную структуру с относительным придаточным: «все эти обороты речи по смыслу включают относительное местоимение и могут быть заменены на конструкцию с относительным местоимением» [Op. cit., 69; ср.: Арно, Лансло 1990, 131; 1991, 51]. Одна и та же глубинная структура может по-разному реализоваться в разных языках, например, в латинском мы имеем *Video canem currentem* 'Я вижу бегущую собаку', а во французском *Je vois un chien qui court* 'Я вижу собаку, которая бежит' [Op. cit., 69-70; см.: Арно, Лансло 1990, 131; 1991, 51]. Позиция относительного местоимения в «привходящем предложении»

Глубинная и поверхностная структура

определяется правилом обращения глубинной структуры в поверхностную. Это можно наблюдать на примере таких фраз, как *Dieu que j'aime* «Бог, которого я люблю», *Dieu par qui le monde a été créé* «Бог, которым был создан мир». В этих случаях

«относительное местоимение всегда ставится в начале такого предложения (хотя по логике вещей должно было бы занимать в нем последнее место), если только оно не управляется предлогом, который предшествует местоимению, по крайней мере в обычных построениях»

[Op. dt., 71; цит. по: Арно, Лансло 1991, 52; ср.: Арно, Лансло 1990, 133].

В каждом из только что рассмотренных предложений глубинная структура состоит из системы [абстрактных] предложений, и она не получает прямого, одно-однозначного выражения в реально производимом материальном объекте. Чтобы образовать из такой глубинной системы элементарных предложений реальное предложение, мы используем определенные правила (в современных терминах, грамматические трансформации). В приведенных примерах мы применяем правило постановки в препозицию относительного местоимения, которое замещает существительное в придаточном предложении (вместе с предлогом, если он имеется). Затем мы можем при желании опустить относительное местоимение, одновременно опустив и связку (как в примере *Dieu invisible* 'невидимый Бог') или изменив форму глагола (как в примере *cams currens* 'бегущая собака'). И наконец, в некоторых случаях мы

должны поменять местами существительное и прилагательное (как в примере *un habile magistrat* 'способный чиновник')⁶⁵.

Глубинная структура, выражающая значение, является общей для всех языков, поэтому она считается простым отражением формы мысли. Трансформационные же правила, по которым глубинная структура превращается в поверхностную, могут различаться от языка к языку. Поверхностная структура, образующаяся в результате этих трансформаций, разумеется, не выражает непосредственно значимых связей между словами, за исключением простейших случаев. Семантическое содержание предложения передается именно глубинной структурой, лежащей в основе реально произнесенного высказывания. Тем не менее, эта глубинная структура таким образом соотносится с реальными предложениями, что каждое из составляющих ее абстрактных предложений (в вышеприведенных примерах) может быть непосредственно реализовано в виде простого пропозиционального суждения.

Теория существенных и несущественных суждений как компонентов глубинной структуры развивается в «Логике» Пор-Рояля⁶⁶, в которой представлен более детальный анализ относительных придаточных. В «Логике» проводится различие между *экспликативными* (неограничительными, или аппозитивными) и *детерминативными* (ограничительными) относительными придаточными*. Это различие основано

* Эти придаточные по-русски называются также «изъяснительными» и «определятельными» соответственно.

на предварительном анализе «содержания» (comprehension) и «объема» (étendu) «общих идей» [Arnould 1964]⁶⁷; говоря современными терминами, — на анализе значения и референции. Содержание идеи — это набор определяющих ее сущностных атрибутов вместе со всем тем, что может быть из них выведено; объем идеи — это множество предметов, ею обозначаемых:

«Содержанием идеи я называю атрибуты, которые она в себе заключает и которых от нее нельзя оторгнуть, не уничтожив ее самой. Например, содержание идеи треугольника включает протяженность, фигуру, три линии, три угла и равенство этих трех углов двум прямым и т. д.

Объемом идеи я называю субъекты, к которым эта идея подходит; их называют также низшими [субъектами] (les inférieurs) родового термина, который по отношению к ним называется высшим. Например, идея треугольника вообще простирается на всевозможные виды треугольников»

[Op. cit., 51; цит. по: Арно, Николь 1991, 52–53].

В терминах этих понятий мы можем отличить такие «экспликации», как *Париж, который является самым большим городом в Европе* или *человек, который смертен*, от определений [детерминаций] типа *прозрачные тела, ученые люди* или *тело, которое прозрачно, люди, которые благочестивы* [Op. cit., 59–60, 118; Там же, 60–61, 122].

«Прибавление следует называть *описанием* [экспликацией], когда в нем всего лишь разворачивается

то, что было заключено в содержании идеи, выраженной первым термином, или по крайней мере то, что подходит к ней как один из ее случайных признаков, если только это подходит к ней в общем и во всем ее объеме...»

[*Op. cit.*, 59-60].

«Другой вид прибавления, который можно назвать *ограничением* [детерминацией], — тот, когда прибавляемое к родовому слову сужает его значение и оно уже не берется как родовое слово во всем его объеме, а обозначает только часть этого объема...»

[*Op. cit.*, 60; *Там же*, 60].

В случае экспликативного относительного придаточного предложения лежащая в его основе глубинная структура в действительности заключает в себе некое суждение, которое можно выразить этим же предложением, если заменить в нем относительное местоимение на его антецедент. Например, предложение *Люди, которые созданы, чтобы любить и познавать Бога...* [*Там же*, 121] предполагает, что люди созданы, чтобы познавать и любить Бога. Таким образом, экспликативному относительному придаточному свойственны сущностные характеристики конъюнкции. Это, разумеется, неверно в отношении ограничительного относительного придаточного (придаточного детерминации). Так, если мы говорим *Люди, которые благочестивы, милосердны* [*Там же*, 122], то этим мы вовсе не утверждаем, что люди благочестивы или что они милосердны. Формулируя это предложение,

Глубинная и поверхностная структура

«ум лишь соединяет идею *благочестивого* с идеей *людей* и, образуя из них совокупную идею, выносит суждение, что атрибут милосердный подходит к этой совокупной идее. Таким образом, в придаточном предложении выражено только суждение нашего ума о том, что идея *благочестивого* не является несовместимой с идеей *человека* и что, следовательно, можно соединять их одну с другой и затем рассматривать, что подходит к ним в этом соединении»

[Op. cit., 119; Там же, 122].

Подобным же образом можно проанализировать предложение *Учение, которое полагает высшее благо в телесном наслаждении, каковое учение было изложено Эпикуром, недостойно философа* [Там же, 122]⁶⁸. Субъектом в этом предложении является *учение, которое... было изложено Эпикуром*, а предикатом — *недостойно философа*. В данном случае субъект сложный, ибо заключает в себе ограничительное относительное придаточное *которое полагает высшее благо в телесном наслаждении* и экспликативное относительное придаточное *каковое было изложено Эпикуром*. Во втором придаточном предложении антецедентом относительного местоимения является сложное выражение *учение, которое полагает высшее благо в телесном наслаждении*. Поскольку придаточное предложение *каковое было изложено Эпикуром* является экспликативным, исходное предложение по необходимости подразумевает, что данное учение действительно принадлежит Эпикуру. Однако относительное местоимение ограничительного придаточного не может быть заменено на свой антецедент — *учение*, так чтобы полу-

чилось утвердительное высказывание, имплицитное, полное предложение. В то же время, сложное высказывание, содержащее ограничительное придаточное предложение и его антецедент, выражает одну сложную идею, образованную из двух идей — идеи учения и идеи отождествления высшего блага с телесным наслаждением. Вся эта информация должна быть представлена в глубинной структуре исходного предложения, если следовать теории Пор-Рояля, а семантическая интерпретация этого предложения должна осуществляться так, как только что было указано, с использованием этой информации [Op. cit., 124].

В соответствии с теорией Пор-Рояля в основе ограничительного относительного придаточного лежит некое суждение, даже если это суждение не утверждается, когда относительное придаточное оказывается в составе сложного выражения. Как уже было отмечено, в выражении *люди, которые благочестивы* утверждается всего лишь совместимость составляющих его идей. Поэтому относительно выражения *Умы, которые являются квадратными, более основательны, нежели круглые* мы можем справедливо утверждать, что относительное придаточное в определенном смысле «ложно», ибо «идея *квадратного* и *круглого* несовместима с идеей *ума*, рассматриваемого как мыслящее начало» [Op. cit., 124; Там же, 127].

Итак, в основе предложений с экспликативными и ограничительными относительными придаточными лежат некие системы суждений (иными словами, абстрактных объектов, образующих значение предложений)⁶⁹; однако способ взаимосвязи различен: в случае экспликативного придаточного лежащее в его основе

Глубинная и поверхностная структура

суждение действительно утверждается, в детерминативном же придаточном суждение, образуемое путем замены относительного местоимения на его антецедент, не утверждается, но образует единую сложную идею вместе с этим существительным.

Разумеется, это верные по своей сути наблюдения, и их следует учитывать в любой синтаксической теории, с помощью которой намереваются уточнить понятие «глубинной структуры», сформулировать и обосновать принципы связи глубинной структуры с поверхностной организацией предложения. Короче говоря, приведенные соображения тем или иным образом должны быть включены в любую теорию трансформационной порождающей грамматики. Задача такой теории как раз и заключается в том, чтобы сформулировать правила, в соответствии с которыми определяется вид глубинных структур и их соотношение с поверхностными структурами, а также правила семантической и фонологической интерпретации глубинных и поверхностных структур соответственно. Иными словами, в основном речь идет о детальной разработке и формализации тех понятий, которые имплицитно содержатся в только что приведенных пассажах и лишь частично находят словесное выражение. Поэтому мне представляется со многих точек зрения вполне обоснованным рассматривать теорию трансформационной порождающей грамматики в том виде, в каком она развивается в настоящее время, как по сути дела современную и более эксплицитную версию теории Пор-Рояля.

В теории Пор-Рояля фигурирующее в поверхностной структуре относительное местоимение не всегда выполняет двойную функцию замещения суще-

ствительного и связи суждений. Бывают случаи, когда оно «утрачивает свою местоименную природу»* и таким образом выполняет только вторую функцию. Например, в таких предложениях, как *Je suppose que vous serez sage* 'Полагаю, что вы будете благоразумны' и *Je vous dis que vous avez tort* 'Говорю вам, что вы неправы' мы обнаруживаем, что в глубинной структуре «предложения *Vous serez sage* 'Вы будете благоразумны', *Vous avez tort* 'Вы неправы' являются частями полных предложений/в *suppose* 'Полагаю' и т. и., *Je vous dis* 'Говорю вам' и т. п.» [*Lancelot, Arnauld* 1660, 73; цит. по: *Арно, Лансло* 1991, 54–55]⁷⁰.

Далее в «Грамматике» говорится, что инфинитивные конструкции играют в глагольной системе ту же роль, что и относительные придаточные в системе имени, являясь средством расширения глагольной системы путем инкорпорирования целых суждений: «инфинитив занимает такое же место в кругу других наклонений (*manières*) глагола, какое среди прочих местоимений занимает местоимение относительное» [*Op. cit.*, 111–112; цит. по: *Арно, Лансло* 1991, 75; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 168]; «инфинитив также, помимо выражения утверждения, присущего глаголу, имеет еще свойство связывать предложение, в котором он употреблен, с другим» [*Op. cit.*, 112; цит. по: *Арно, Лансло* 1991, 75; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 169]. Так, значение предложения *Scio malum esse fugiendum* 'Знаю, что нужно избегать зла' [см.: *Арно, Лансло* 1990, 168;

* В [*Арно, Лансло* 1990] перевод соответствующего раздела отсутствует. Ср.: [*Арно, Лансло* 1991, 53].

1991, 75] выражается глубинной структурой с двумя суждениями, выражаемыми предложениями *scio* 'знаю' и *malum esse fugiendum* 'зло нужно избегать'. Трансформационное правило (выражаясь современными терминами), в соответствии с которым строится поверхностная структура этого предложения, требует замены *est* на *esse* подобно тому, как трансформации, приводящие к образованию предложений вроде *Dieu (qui est) invisible a créé le monde (qui est) visible* букв. 'Бог (который есть) невидимый создал мир (который есть) видимый', состоят из различных операций замены, изменения порядка элементов и опущения, которые применяются к системам глубинных предложений. Поэтому-то и получилось, что по-французски мы почти всегда передаем инфинитив изъявительным наклонением со словечком *que* 'что': *Je sçay que le mal est à fuir* «Знаю, что нужно избегать зла» [Ор. cit., 112; цит. по: Арно, Лансло 1991, 75; ср.: Арно, Лансло 1990, 168-169]. В данном случае идентичность глубинных структур латинского и французского языков в определенной степени, возможно, затемнена тем обстоятельством, что в этих двух языках используются несколько различные трансформационные операции для выведения поверхностных форм.

В «Грамматике» Пор-Рояля говорится также о том, что подобным образом можно анализировать и косвенную речь⁷¹. Если глубинное вставленное предложение является вопросительным, то трансформационное правило требует введения скорее частицы *si*, а не *que*, как, например, в предложении *On m'a demandé si je pouvais faire cela* 'Меня спросили, могу ли я это сделать', где *Pouvez-vous faire cela?* 'Можете вы это сделать?' — это «речь, которую передают». Иногда же

не требуется никакой частицы, достаточно изменить лицо; ср., например, *Il m'a demandé: Qui estes-vous?* 'Он меня спросил: Кто вы?' и *// m'a demandé quij'estois* 'Он меня спросил, кто я' [Ор. cit., 113; цит. по: Арно, Лансло 1991, 76; ср.: Арно, Лансло 1990, 170].

Итак, суть теории Пор-Рояля в общих чертах заключается в следующем: у каждого предложения есть внутренняя, ментальная, сторона (глубинная структура, образующая его значение) и внешняя, материальная, сторона — последовательность звуков. Анализ поверхностной структуры, разбиение ее на фразы* может и не выявить никаких значимых связей в глубинной структуре, если на них не указывают ни формальные показатели, ни порядок слов. Тем не менее глубинная структура всегда присутствует в сознании при произнесении конкретного высказывания. Глубинная структура состоит из системы организованных различным образом элементарных суждений, которые имеют субъектно-предикатную форму с субъектом и предикатом простого вида (т. е. последние представляют собой категории, а не более сложные фразы). Многие из этих элементарных объектов могут независимо реализоваться в виде поверхностных предложений. В общем случае нельзя утверждать, что элементарные суждения, из которых состоит глубинная структура, утверждаются при произнесении предложения, производного от этой глубинной структуры; примером могут служить экспликативные и детерминативные предложения, которые

* Здесь термин «фраза» употреблен в обычном для американского языкознания значении составляющей предложения.

различаются между собой в этом отношении. Чтобы составить реальное предложение на основе данной глубинной структуры, которое передавало бы мысль, выражаемую этой структурой, необходимо применить определенные трансформационные правила изменения порядка следования элементов, их субституции или опущения. Некоторые из этих правил обязательны, другие же факультативны. Так, предложение *Dieu qui est invisible a créé le monde visible* 'Бог, который невидим, создал мир, который видим' отлично от его парафразы *Dieu invisible a créé le monde visible* 'Невидимый Бог создал видимый мир'; здесь применена факультативная операция опущения, однако трансформация, в результате которой существительное заменяется относительным местоимением, а последнее выносится в препозицию, является обязательной.

Это объяснение действительно только для предложений, основанных исключительно на суждениях. Однако последние, хотя и являются важнейшей формой мысли, вовсе не исчерпывают «операции нашего рассудка» и «к этому, однако, следует еще добавить конъюнкцию, дизъюнкцию и другие подобные операции нашего рассудка, а также все другие движения души: желания, приказание, вопрос и т.д.» [*Op. cit.*, 29; цит. с изм. по: *Арно, Лансло* 1991, 30; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 91-93]. Эти и другие «формы наших мыслей» отчасти означиваются посредством специальных частиц, вроде лат. *non* 'не', *vel* 'или', *si* 'если', *ergo* 'следовательно' и т.д. [*Op. cit.*, 137-138; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 202; 1991, 30]. Однако и в таких предложениях тождество глубинной структуры может быть замаскировано

различиями в трансформационных средствах, используемых для образования реальных предложений в соответствии с теми значениями, которые говорящий намеревается выразить. В качестве примера можно привести вопросительные предложения. В латыни вопросительная частица *ne* «не имеет никакого объекта вне нашего разума, но единственно означает движение нашей души, когда мы хотим что-то узнать» [*Op. cit.*, 138; ср.: Арно, Лансло 1990, 202; 1991, 94]. Что же касается вопросительного местоимения, то это «не что иное, как местоимение, к которому добавлено значение частицы *ne*: заменяя, как и все другие местоимения, имя, оно, кроме того, выражает движение нашей души, желающей узнать что-то и ждущей соответствующих сведений» [*Op. cit.*, 138; цит. по: Арно, Лансло 1991, 94; ср.: Арно, Лансло 1990, 202-203]. Однако это «движение души» (*mouvement de Râme*) может быть означено разными способами, а не только добавлением частицы, например, изменением тона голоса или инверсией порядка слов, как во французском языке, где субъект, выраженный местоимением, «передвигается» [см.: Арно, Лансло 1990, 203; 1991, 95] в позицию после показателя лица в глаголе (при этом сохраняется согласование, имеющееся в глубинной форме). Все эти средства помогают реализовать одну и ту же глубинную структуру [*Op. cit.*, 138-139].

Следует отметить, что в теории глубинной и поверхностной структуры, развиваемой в лингвистических исследованиях Пор-Рояля, в имплицитном виде содержатся рекурсивные механизмы, обеспечивающие бесконечное применение конечных средств, описываемых этой теорией; такой и должна быть любая адекват-

нал теория языка. Более того, в приведенных примерах рекурсивные механизмы отвечают определенным формальным условиям, существование которых вовсе не является необходимым *a priori*. Как в случаях тривиальных (например, при конъюнкции, дизъюнкции и т. п.), так и в более интересных случаях, обсуждаемых в связи с относительными придаточными и инфинитивами, единственный способ расширения глубинной структуры заключается в добавлении полных предложений с базовой субъектно-предикатной структурой. Трансформационные правила опущения, пермутации и т. д. не играют никакой роли в создании новых структур. Разумеется, остается открытым вопрос, в какой степени грамматисты Пор-Рояля осознавали данные свойства собственной теории, находились ли они в центре их интересов.

Рассуждая в современных терминах, мы можем формализовать описанный выше подход посредством описания синтаксиса языка в терминах двух систем правил: *базовой системы*, порождающей глубинные структуры, и *трансформационной системы*, отображающей глубинные структуры на поверхностные. Базовая система состоит из правил, порождающих глубинные грамматические отношения между элементами с абстрактным порядком (правила переписывания грамматики непосредственных составляющих); трансформационная система состоит из правил опущения, пермутации, прибавления и т. д. Базовые правила позволяют вводить новые предложения (иначе говоря, они содержат правила переписывания вида $A \rightarrow \dots S \dots$, где S — начальный символ базовой грамматики непосредственных составляющих); других рекурсивных

средств не существует. Среди трансформаций фигурируют такие, посредством которых формулируются вопросы, императивные высказывания и т. д. в случае, если в глубинной структуре содержатся соответствующие указания (т. е. когда глубинная структура представляет соответствующее «ментальное действие» посредством разработанной для этой цели нотации)⁷².

По всей видимости, «Грамматика» Пор-Рояля была первой грамматикой, в которой было более или менее четко развито понятие структуры непосредственных составляющих⁷³. В связи с этим интересно отметить, что эта грамматика также вполне недвусмысленно свидетельствует о неадекватности описания в терминах структур непосредственных составляющих, когда речь идет о представлении синтаксической структуры; в ней содержатся намеки на своего рода трансформационную грамматику, которая во многих отношениях сходна с той, что активно разрабатывается в настоящее время.

Если перейти от общей концепции грамматической структуры, изложенной в «Грамматике» Пор-Рояля, к конкретным образцам грамматического анализа, то мы обнаружим в ней много других попыток развить теорию глубинной и поверхностной структуры. Например, наречия (в большинстве случаев) рассматриваются как следствие «желания людей сделать речь более краткой», поэтому они предстают как эллиптические формы предложно-именных конструкций; например, *sapienter* 'благоразумно' вместо *cum sapientia* 'с благоразумием' или *hodie* 'сегодня' вместо *in hoc die* 'в этот день' [Ор. cit., 88; цит. по: Лрно, Лансло 1991, 63; ср.: Арно, Лансло 1990, 146]. Подобным же образом глаголы рассматриваются как такие слова, которые содержат

в скрытом виде глубинную связку, выражающую утверждение, а это значит, что и их использование обусловлено желанием сделать конкретное выражение мысли более кратким. Глагол — это «слово, главное предназначение которого состоит в обозначении утверждения»⁷⁴. Речь, содержащая глагол, есть речь человека, который не только осознает какие-то объекты, но и судит о них, что-то по их поводу утверждает» [Op. cit., 90; цит. по: Арно, Лансло 1991, 64; ср.: Арно, Лансло 1990, 147-148]. Когда мы произносим глагол, мы тем самым совершаем акт утверждения, а не просто обозначаем утверждение как «предмет нашей мысли», как, например, когда мы используем «имена, [которые] тоже обозначают утверждение, например, [лат.] *affirmans* 'утверждающий', *affirmatio* 'утверждение'» [Op. cit., 90; цит. по: Арно, Лансло 1991, 64; ср.: Арно, Лансло 1990, 148]. Поэтому предложение лат. *Petrus vivit* или франц. *Pierre vit* 'Петр живет' значит *Pierre est vivant* 'Петр есть живущий' [Op. cit., 91; см. Арно, Лансло 1990, 149; 1991, 65], а в предложении лат. *Petrus affirmât* 'Петр утверждает' *affirmât* равнозначно *est affirmans* 'есть утверждающий' [Op. cit., 98; цит. по: Арно, Лансло 1991, 68; ср.: Арно, Лансло 1990, 156]. Из этого следует, что в предложении лат. *affirmo* 'Я утверждаю' (в котором субъект, связка и атрибут сокращены до одного-единственного слова) выражены два утверждения. Первое — это акт утверждения, совершаемый говорящим, другое — утверждение, которое говорящий приписывает кому-либо (в данном случае себе). Подобным же образом «глагол *него* 'отрицаю', напротив, содержит... одно утверждение и одно отрицание» [Op. cit., 98; цит. по: Арно, Лансло 1991, 68; ср.: Арно, Лансло 1990, 156]⁷⁵.

Если эти наблюдения грамматистов Пор-Рояля сформулировать в терминах нашей теории, то окажется, что глубинная структура, лежащая в основе такого предложения, как *Петр живет* или *Бог любит человечество* [Arnauld 1964,108; см.: Арно, Николь 1991,107], содержит связку, выражающую утверждение, и предикат (*живущий, любящий человечество*), относимый к субъекту суждения. Глаголы образуют подкатегорию предикатов; к ним применяется трансформация, в результате которой они сливаются со связкой в единое слово.

Более подробный анализ глаголов содержится в «Логике» Пор-Рояля; в ней утверждается, что несмотря на внешний вид поверхностной структуры, любые предложения с переходным глаголом и дополнением «можно назвать сложными, они содержат некоторым образом два предложения» [Op. cit., 117; ср.: Там же, 120]. Так, на предложение *Брут убил тирана* мы можем возразить, что Брут вообще никого не убивал или что человек, которого убил Брут, не был тираном. Отсюда следует, что это предложение выражает суждение о том, что Брут убил кого-то, кто был тираном, и глубинная структура должна отражать этот факт. Представляется, что если следовать духу «Логике», то этот анализ можно применить и в случае, когда объект является сингулярным термом, например, в предложении *Брут убил Цезаря*.

Подобного рода анализ сыграл определяющую роль в теории рассуждения, развитой позднее в «Логике». В действительности он был использован для развития частичной теории отношений; это позволило распространить теорию силлогизма на те аргументы, к которым в ином случае она была бы неприменимой.

Так, в «Логике» указывается [*Op. cit.*, 206-207], что заключение от высказываний *Божественный закон повелевает почитать кесарей* и *Людовик XIV — кесарь* к высказыванию *Божественный закон повелевает почитать Людовика XIV* [см.: *Op. cit.*, 206], очевидным образом является верным, хотя оно, в своей поверхностной структуре, не является примером какой-либо истинной фигуры силлогизма. Рассматривая *кесарей* в качестве «субъекта другого предложения, в свернутом виде содержащегося в рассматриваемом» [ср.: *Op. cit.*, 207] и применяя пассивную трансформацию⁷⁶ или же другим способом разлагая исходное предложение на его глубинные пропозициональные составляющие, мы в конце концов приведем аргумент к истинной фигуре силлогизма «Барбара»*.

Сведение предложений к лежащей в их основе глубинной структуре используется и в других местах «Логики» с той же целью. Так, Арно отмечает [*Op. cit.*, 208], что предложение *В наше время мало таких пастырей, которые были бы готовы отдать жизнь за свою паству*, хотя и утвердительное по форме на поверхностном уровне, в действительности «по смыслу содержит в себе следующее отрицательное: *Многие пастыри в наше время не готовы*

⁷⁶Так условно назван первый модус первой фигуры простого категорического силлогизма. Назначение первой фигуры — подведение частного случая под общее положение. Название взято из мнемонического латинского стихотворения, составленного Петром Испанским (впоследствии папа Иоанн XXI) для облегчения запоминания всех модусов. — *Прим. перев.*

отдать жизнь за свою паству» [Op. cit., 209]. Арно не раз повторяет, что то, что является утвердительным или отрицательным «по видимости», может являться или не являться таковым по значению, т. е. в глубинной структуре. Короче говоря, реальная «логическая форма» предложения может быть совсем иной по сравнению с его поверхностной грамматической формой⁷⁷.

Для всего рассматриваемого периода характерен частый акцент на тождественности глубинной структуры, лежащей в основе разнообразных поверхностных форм в самых разных языках; это связано с проблемой способов выражения значимых семантических связей между элементами речи. В гл. VI «Грамматики» Пор-Рояля рассматривается выражение этих отношений посредством падежных окончаний, как это наблюдается в классических языках; посредством внутренней модификации вроде той, что наблюдается в *status constructus* древнееврейского языка; с помощью частиц, как в романских языках, или просто с помощью фиксированного порядка слов⁷⁸, как в случае выражения субъектно-предикатных и предикатно-объектных отношений во французском языке. Все эти способы рассматриваются в качестве манифестаций глубинной структуры, общей для всех этих языков и отражающей структуру мысли. Подобным же образом Лами в своей «Риторике» обсуждает различные средства, используемые в разных языках для выражения «отношений, последовательности и связи всех идей, которые возбуждаются в нашем уме при рассмотрении этих вещей» [*Lamy* 1676, 10-11].

Энциклопедист Дю Марсэ* также обращает внимание на тот факт, что связи между элементами речи в одних языках выражаются с помощью системы падежей, а в других те же связи выражаются порядком слов или специальными частицами; при этом он указывает на наличие корреляции между свободой порядка слов в предложении и богатством флексий [см. рус. пер.: *Дю Марсэ 2001, 117*]⁷⁹.

Примечательно предположение о том, что в любом языке существует единообразный набор отношений, в которые могут вступать слова, и эти отношения соответствуют потребностям мышления. Философы-грамматисты вовсе не пытались доказать, что во всех языках существуют падежные системы как таковые и что для выражения падежных отношений повсюду используются флективные средства. Напротив, они постоянно подчеркивали, что система падежей всего лишь одно из средств выражения подобных отношений. Иногда указывалось, что названия падежей можно использовать применительно к разным видам отношений в качестве педагогического приема; также обосновывалась целесообразность, по соображениям простоты, различать падежи даже там, где нет формальных показателей. Отсутствие системы падежей во французском языке отмечается уже в самых ранних грамматиках. См. [*Sahlin 1928, 212*].

Важно понять, что использование названий падежей, имеющихся в классических языках, примени-

* *Дю Марсэ* (или *Дюмарсе*) *Сезар Шено* (Du Marsais или Dumarsais C.-Ch., 1676-1756) — французский философ-просветитель и грамматист.

тельно к языкам, лишенным флексии, свидетельствует исключительно о вере грамматистов в единообразии соответствующих грамматических отношений; они верили, что глубинные структуры по существу одни и те же в разных языках, хотя средства их выражения могут быть совершенно различными. Истинность подобного утверждения отнюдь не очевидна, иначе говоря, оно представляет собой нетривиальную гипотезу, однако, насколько мне известно, современное языкознание не предоставляет нам данных, которые позволили бы серьезно ее оспорить⁸⁰.

Выше было отмечено, что в «Грамматике» Пор-Рояля большинство наречий, собственно говоря, не относится к категориям глубинной структуры, они используются лишь для того, чтобы «выразить в одном слове то, что иначе можно было бы выразить лишь сочетанием предлога с именем» [*Lancelot, Arnauld* 1660, 88; цит. по: *Арно, Лансло* 1991, 63; ср.: *Арно, Лансло* 1990, 146]. Грамматисты более позднего времени просто опускают уточнение «большинство наречий». Так, Дю Марсэ считает, что «наречие отличается от других видов слов тем, что оно равноценно предлогу и имени; оно имеет значимость предлога с его дополнением; это слово, делающее речь короче» [*Du Marsais* 1769, 660]. Дав такую общую характеристику, Дю Марсэ переходит к анализу обширного класса единиц способом, который мы перефразируем как выведение формы «предлог — дополнение» из глубинной структуры. Еще более подробный анализ наречий дал Бозе*⁸¹. Между

* *Базе Никола* (Beauzée N., 1717-1789) — французский грамматист, составитель грамматических статей в «Энциклопедии».

прочим, он отмечает, что, хотя «наречное словосочетание» (*phrase adverbiale*), например, *avec sagesse* 'с благоразумием', не отличается по своему «значению» (*signification*) от соответствующего наречия *sagement* 'благоразумно', оно может отличаться от него «добавочными идеями» (*idées accessoires*), которые с ним ассоциируются: «когда необходимо противопоставить действие и привычку, наречие более подходит для обозначения привычки, а наречное словосочетание — для указания на действие; тогда я скажу так: *Un homme que se conduit sagement ne peut pas se promettre que toutes ses actions seront faites avec sagesse* 'Человек, ведущий себя благоразумно, не может ожидать, что все его действия будут совершаться им с благоразумием'» [*Beauzée* 1819, 342]⁸². Это различие является частным случаем «естественного неприятия всеми языками полной синонимии, которая способна лишь обогатить язык звуками, бесполезными для точности и ясности выражения».

У грамматистов более ранней эпохи можно найти и другие примеры анализа в терминах глубинной структуры; так, повелительные и вопросительные предложения трактуются как по сути дела эллиптические трансформы глубинных выражений с такими дополнительными терминами, как *I order you...* 'Я приказываю вам...' или *I request...* 'Я прошу...' ⁸³. Поэтому глубинная структура предложения *Venez me trouver* 'Приходите ко мне в гости' имеет вид, *Je vous ordonne (prie) de me venir trouver* 'Я вам приказываю (прошу вас) прийти ко мне в гости'; предложение *Qui a trouvé cela?* 'Кто это нашел?' значит *Je demande celui qui a trouvé cela* 'Я спрашиваю о том, кто это нашел' и т. п.

Можно привести в пример тривиальное применение трансформации при выведении из глубинных предложений выражений с конъюнкцией термов [Op. cit., 399 f.]. Несколько более интересные случаи приводит Бозе при анализе союзных средств; например, он считает, что наречие *comment* 'как' опирается на глубинную форму, содержащую слово *manière* 'способ' и относительное придаточное, поэтому предложение *Je sais comment la chose se passa* 'Я знаю, как это произошло' имеет значение *Je sais la manière de laquelle manière la chose se passa* букв. 'Я знаю способ, каким способом это произошло'. Значение выражения *La maison dont j'ai fait l'acquisition* букв. 'дом, покупку которого я совершил' он анализирует как *La maison de laquelle maison j'ai fait l'acquisition* букв. 'дом, которого дома я совершил покупку'. Используя этот метод, он вскрывает лежащую в основе данных предложений глубинную структуру с ее главной и придаточной частью.

Интересное развитие описанного метода можно найти у Дю Марсэ в его теории *конструкции* и *синтаксиса*[^]. Он предлагает называть «конструкцией» (*construction*) «расположение слов в речи», а «синтаксисом» (*syntaxe*) — «связи между словами». Например, в трех предложениях лат. *Accepit litteras tuas* 'Я получил твое письмо', *Tuas accepit litteras* 'Твое я получил письмо' и *Litteras accepi tuas* 'Письмо я получил твое' представлены три разные конструкции, но синтаксис остается одним и тем же, ибо связи между составными элементами одни и те же во всех трех случаях. «Таким образом, каждое из этих трех расположений вызывает в сознании один и тот же смысл: *J'ai reçu votre lettre* 'Я получил ваше письмо'». «Синтаксис» он

далее определяет следующим образом: это «то, благодаря чему в каждом языке посредством слов мы можем вызвать в сознании людей, знающих данный язык, тот смысл, который мы хотим выразить. Синтаксис — это часть грамматики, содержащая знание о знаках, установленных в языке с тем, чтобы в сознании людей мог из смысла отдельных слов складываться смысл целой фразы» [*Du Marsais* 1769, 229-231; цит. с небольш. изм. по: *Дю Марсэ* 2001, 107-108]. Таким образом, синтаксис некоего выражения есть по сути дела то, что мы называем его глубинной структурой; конструкция же выражения — это то, что мы называем его поверхностной^{«яю»} структурой^{«яю»}.

Это различие проводится на основе следующих общих рассуждений. Мыслительный акт составляет отдельную единицу. Для ребенка «ощущение» сладости сахара поначалу есть неанализируемый единичный опыт [*Op. cit.*, 181]; для взрослого человека значение предложения *Le sucre est doux* 'Сахар сладок', та мысль, которую оно выражает, также есть отдельная сущность. Язык доставляет средства, необходимые для анализа этих объектов, иным путем не дифференцируемых. Он предоставляет

«средство облечь в одежды, если можно так выразиться, нашу мысль, сделать ее осязаемой, расчленив, проанализировав ее, одним словом, придать ей такой облик, чтобы ее можно было сообщить другим с большей точностью и подробностью.

Таким образом, каждая отдельная мысль является, так сказать, некоей совокупностью, целым; при пользовании речью она членится, анализируется и де-

тализируется с помощью производимых органами речи разнообразных артикуляций, которые образуют слово»

[Op. cit., 184].

Подобным же образом восприятие речи заключается в выведении единой и нерасчлененной мысли из последовательности слов. «[Слова] в своей совокупности вызывают в сознании читающего или слушающего цельный смысл или мысль, которую мы хотим в нем породить» [Op. cit., 185]. Чтобы понять, какова эта мысль, разум должен прежде всего обнаружить связи между словами предложения, т. е. определить его синтаксис; затем он должен определить значение, полностью проанализировав глубинную структуру. Метод анализа, которому следует разум, заключается в том, чтобы расположить рядом взаимосвязанные слова и таким образом установить «значимый порядок» (*ordre significatif*), в котором взаимосвязанные слова следуют друг за другом. Реально произнесенное предложение само по себе может следовать «значимому порядку»; в таком случае оно называется «простой (естественной, необходимой, значимой, повествовательной) конструкцией» [Op. cit., 232; Там же, 108]. В противном случае «значимый порядок» должен быть восстановлен посредством той или иной аналитической процедуры, он должен быть «восстановлен разумом, который воспринимает смысл исключительно через этот порядок» [Op. cit., 191-192]. Например, чтобы понять латинское предложение, мы должны реконструировать «естественный порядок», имеющийся в сознании говорящего [Op. cit., 196]. Мало понять значение каждого предложения, требуется нечто большее:

Глубинная и поверхностная структура

«Вы ничего не поймете, если мысленно не поставите рядом слова, связанные друг с другом. А это вы можете сделать, лишь дослушав предложение до конца»

[*Op. cit.*, 198-199].

Так, в латинском языке имеются «обозначающие связи окончания, которые позволяют после произнесения предложения определить порядок отношений между словами соответственно с порядком *простой, необходимой и значимой конструкции*» [*Op. cit.*, 241-242; *Там же*, 113; цит. с небол.ш. изм.]. Эта «простая конструкция» представляет собой «рекомендуемый во всех случаях порядок, но он редко соблюдается в общеупотребительных конструкциях в тех языках, где существительные имеют падежи» [*Op. cit.*, 251]. Сведение к «простой конструкции» является первым и основным этапом восприятия речи:

«Слова образуют целое, состоящее из частей; обычное же восприятие соотношения, в котором находятся эти части и которое позволяет нам представить целое, опирается исключительно на простую конструкцию; в ней слова произносятся последовательно в соответствии с порядком следования их связей и предстают перед нами наиболее удобным способом, позволяющим воспринимать эти связи и формировать мысль в ее целостности»

[*Op. cit.*, 287-288].

Конструкции, отличные от «простых конструкций» (а именно «фигуральные конструкции»),

«понимаются лишь потому, что разум устраняет их нерегулярность с помощью добавочных идей, которые позволяют воспринимать читаемое и слушаемое так, как если бы смысл высказывался в порядке, присущем простой конструкции»

[Op.ей., 292].

Короче говоря, в «простой конструкции» отношения «синтаксиса» непосредственно представлены связями между следующими друг за другом словами, а нерасчлененная мысль, выражаемая предложением, непосредственно выводится из этой глубинной репрезентации, которая всегда рассматривается как общая всем языкам (характерно, что она считается соответствующей обычному порядку слов во французском языке; ср., например, [Op. cit., 193]).

Трансформации, в результате которых образуется «фигуральная конструкция», заключаются в изменении порядка слов и в эллипсисе. «Основной принцип всякого синтаксиса» [Op. cit., 218] заключается в том, что изменение порядка слов и эллипсис должны быть исправлены в сознании слушающего ([ср.: Op. cit., 202, 210 ff., 277]), иначе говоря, они применимы лишь в тех случаях, когда возможно восстановить «сухой и метафизический порядок» «простой конструкции»⁸⁶.

Эта теория иллюстрируется многочисленными примерами сведения к «простой конструкции»⁸⁷. Так, предложение *Qui est-ce qui vous l'a dit?* 'Кто вам это сказал?' сводится к «простой конструкции» (*Celui ou celle qui vous l'a dit est quelle personne?* букв. '(Тот или та), кто вам это сказал, который человек?' [Sahlin 1928, 93]; предложение *Aussitôt aimés qu'amoureux, on*

Глубинная и поверхностная структура

ne vous force point à répandre des larmes 'Любимы ли вы или любите, вас вовсе не заставляют проливать слезы' сводится к *comme vous êtes aimés aussitôt que vous êtes amoureux* 'поскольку вы любимы и поскольку вы влюблены...'; предложение // *vaut mieux être juste, que d'être riche; être raisonnable que d'être savant* 'Лучше быть справедливым, чем богатым, разумным, чем ученым' тривиальным образом сводится к четырем глубинным предложениям — двум отрицательным и двум положительным [Op. cit., 109] и т.п.

Совсем иной пример различения глубинной и поверхностной структуры приводит Дю Марсэ, когда он анализирует выражения *J'ai une idée* букв. 'Я имею мысль', *J'ai peur* букв. 'Я имею страх', *J'ai un doute* букв. 'Я имею сомнение' и т.д. Он указывает, что их не следует приравнять к выражениям со сходной поверхностной структурой: *J'ai un livre* букв. 'Я имею книгу', *J'ai un diamant* букв. 'Я имею алмаз', *J'ai une montre* букв. 'Я имею часы'; в этих выражениях существительные — «имена реальных предметов, которые существуют независимо от нашего способа размышления». Напротив, в предложении *J'ai une idée* глагол представляет собой «заимствованное выражение», используемое всего лишь «как имитация». Предложение *J'ai une idée* значит просто *Je pense, Je conçois de telle ou telle manière* 'Я думаю, я мыслю таким-то и таким-то образом'. Следовательно, грамматика Дю Марсэ не дает никакого повода для предположения, что такие слова, как *idée* 'идея', *concept* 'понятие', *imagination* 'воображение' замещают 'реальные предметы' (*objets réels*), не говоря уже о «воспринимающих существах» (*êtres sensibles*). От этого грамматического наблюдения всего

лишь один шаг до критики картезианской и эмпиристской теории идей как основанной на ложной грамматической аналогии. Спустя немного времени этот шаг сделал Томас Рид*⁸⁸.

Приводя многочисленные цитаты, Дю Марсэ указывает, что его теория синтаксиса и конструкции была предвосхищена в грамматических сочинениях схоластов и мыслителей эпохи Возрождения (см. прим. 64). Однако он следует за грамматистами Пор-Рояля, когда рассматривает теорию глубинной и поверхностной структуры как по сути дела психологическую теорию, а не просто как средство толкования тех или иных форм или анализа текстов. Выше было указано, что эта теория играет определенную роль в гипотетических построениях Дю Марсэ, призванных объяснить процесс восприятия и производства речи; ведь и в «Грамматике» Пор-Рояля говорится, что глубинная структура репрезентируется «в сознании» во время восприятия или производства высказывания.

Приведем еще один, последний, пример попыток обнаружить скрытые регулярности, лежащие в основе разнообразия поверхностных структур; это анализ неопределенных артиклей в главе VII «Грамматики» Пор-Рояля. В этой главе, исходя из соображений симметрии, авторы утверждают, что формы *de* и *des* играют роль форм множественного числа неопределенного артикля *un*, например: *Un crime si horrible mérite la mort* 'Столь ужасное преступление заслуживает смерти', *Des*

*Рид Томас (Reid T., 1710-1796) — шотландский философ, основатель школы «здравого смысла».

crimes si horribles méritent la mort 'Столь ужасные преступления заслуживают смерти', *De si horribles crimes méritent la mort* (то же значение) и т. д. Чтобы объяснить кажущееся исключение: *il est coupable de crimes horribles (d'horribles crimes)* 'Он виновен в ужасных преступлениях', они формулируют «правило какофонии», согласно которому последовательность *de de* заменяется на *de*. Авторы «Грамматики» также обращают внимание на употребление формы *des* в функции определенного артикля и на другие употребления названных форм [см.: Арно, Лансло 1990, 118; 1991, 43].

Надеюсь, приведенных примеров и комментариев к ним достаточно, чтобы получить общее представление о масштабности и основных особенностях грамматических теорий «грамматистов-философов». Как мы отметили выше, их теория поверхностной и глубинной структуры имеет непосредственное отношение к проблеме творческого характера языкового употребления, рассмотренной нами в первой части книги.

В глазах современных лингвистов попытка обнаружить и описать глубинные структуры, а также выявить трансформационные правила, которые связывают их с поверхностными формами, выглядит несколько абсурдной⁸⁹. По их мнению, она свидетельствует о неуважительном отношении к «реальному языку» (т.е. к поверхностной форме) и об отсутствии интереса к «языковому факту». Столь критическая оценка обусловлена тем, что «языковые факты» сводятся к реально вычленимым частям произнесенного высказывания и к формально маркированным связям между ними⁹⁰. В таком узком понимании лингвистика лишь мимоходом изучает использование языка для выражения

мысли, ограничивая себя случаями, когда глубинная и поверхностная структура совпадают; в частности, она исследует «соотношения между звуком и значением» исключительно в той мере, в какой они представимы в терминах поверхностной структуры. Этой ограниченностью и обусловлена общая пренебрежительная оценка попытки картезианской лингвистики и лингвистики более раннего периода⁹¹ дать исчерпывающее объяснение глубинной структуры даже в случаях отсутствия строгой, одно-однозначной корреляции этой структуры с наблюдаемыми в речи признаками. Предпринятые в XVII-XVIII вв. попытки одновременно анализировать организацию семантического содержания и организацию звуковой стороны высказывания во многих отношениях были неудачными, однако современные критики обычно не приемлют их скорее по причине тех целей, которые ставили перед собой языковеды прошлого, чем по причине постигших их неудач.

**Описание
и объяснение
в лингвистике**

В рамках картезианской лингвистики описательная грамматика занимается как звуками, так и значениями. Используя современную терминологию, можно сказать, что она приписывает каждому предложению абстрактную глубинную структуру, которая определяет его семантическое содержание, и поверхностную структуру, определяющую его фонетическую форму. В этом случае полная грамматика должна состоять из конечной системы правил, порождающих бесконечный ряд подобного рода парных структур; она показывает, как говорящий — слушающий использует конечные средства бесконечно разнообразными способами, чтобы выразить свои «ментальные действия» и «ментальные состояния».

Однако в центре интересов картезианской лингвистики находилась не столько дескриптивная грамматика в указанном смысле слова, сколько «*grammaire générale*» — «общая грамматика», т.е. универсальные принципы языковой структуры. С самого начала в трудах картезианцев проводилось различие между общей и частной грамматикой. Дю Марсэ следующим образом характеризует два вида грамматик.

«Некоторые грамматические наблюдения могут относиться ко всем языкам; они образуют так называемую общую грамматику. Таковы замечания по поводу артикулируемых звуков и букв, которые суть знаки этих звуков; по поводу природы слов и различных способов, какими их следует произносить, расставлять или снабжать окончаниями, чтобы выразить некий смысл. Кроме подобных общих наблюдений, есть и такие, которые имеют отношение лишь к одному конкретному языку, именно они и образуют частную грамматику каждого языка»⁹².

Бозе указанное различие формулирует следующим образом.

«Итак, ГРАММАТИКА, предметом которой является высказывание мысли средствами устной или письменной речи, может покоиться на двоякого рода принципах. Истинность одних неизменна, они универсальны, обусловлены самой природой мысли и вытекают из ее анализа, представляя собой всего лишь результат этого анализа. Истинность вторых гипотетична, она зависит от случайных, произвольных и изменчивых условностей, дающих жизнь разнообразным наречиям. Первые принципы составляют общую грамматику, вторые же являются предметом различных частных грамматик.

ОБЩАЯ ГРАММАТИКА является, таким образом, основанной на законах разума наукой об общих и неизменных принципах устной или письменной речи (language) в любом языке.

ЧАСТНАЯ ГРАММАТИКА является искусством подведения произвольных и узуальных установлений

отдельных языков под общие и неизменные принципы устной и письменной речи.

Общая грамматика является наукой, ибо ее единственная цель заключается в рациональном истолковании общих и неизменных принципов речи.

Частная грамматика является искусством, поскольку ее цель — практическое применение общих принципов речи к произвольным и узуальным установлениям отдельных языков.

Грамматическая наука предшествует всем языкам, поскольку из ее принципов следует лишь возможность существования языков; это те же самые принципы, которые направляют человеческий разум в его интеллектуальной деятельности; одним словом, это принципы, истинность которых неизменна.

Грамматическое искусство, напротив, следует за языками, поскольку узус отдельных языков должен существовать до того, как мы искусственно соотнесем его с общими принципами речи, и поскольку аналогичные системы, составляющие суть искусства, возникают только в результате наблюдений над предшествующим узусом»^{*93}.

В «Похвале Дю Марсэ» Д'Аламбер** следующим образом характеризует «философскую грамматику»:

«Итак, грамматика — это творение философов. — Лишь философский разум в состоянии обна-

* Ср. сходный, но более краткий пассаж в рус. пер.: [Бозе, Душе 2001, 243–244].

** Д'Аламбер Жан Лерон (Alembert J. Le Rond d', 1717–1783) - французский математик и философ-просветитель.

Описание и объяснение в лингвистике

ружить принципы, на основе которых устанавливаются правила... Вначале разум усматривает в грамматике каждого языка общие принципы, присущие всем другим языкам; они образуют общую грамматику. Затем он, рассматривая характерные для каждого языка употребления, выделяет те из них, которые могут быть обоснованы рационально, и те, которые всего лишь дело случая или результат небрежности. Он наблюдает, каким образом языки повлияли друг на друга и какие изменения произошли в них после такого смешения, которое, однако, не привело к потере языками их исконных свойств. Он взвешивает их сравнительные недостатки и преимущества, различия в их строении... разнообразие их гения... их богатство и свободу, их нищету и рабство. Рассмотрение этих разнообразных предметов составляет подлинную метафизику грамматики. — Ее предметом является... способ, каким человеческий разум порождает идеи и использует слова для сообщения своих мыслей другим людям»⁹⁴.

После обнаружения всеобщих принципов появляется возможность дать частное объяснение фактам тех или иных языков, если только будет доказано, что последние являются не чем иным, как специфическими проявлениями универсальных особенностей языковой структуры, описываемых в «общей грамматике». Кроме того, сами универсальные свойства можно объяснить, исходя из общих предположений относительно особенностей протекания умственной деятельности и относительно случайностей языкового употребления (например, исходя из предположения о полезности эллиптических трансформаций). Таким способом картезианская лингвистика попыталась построить тео-

рию грамматики, которая была бы не только «общей», но и «рациональной».

Лингвистические воззрения грамматистов Пор-Рояля и их последователей отчасти явились реакцией на господствовавшие в их время методы; представление о них дают, например, «Замечания о французском языке» Вожла* [*Vaugelas 1647*]⁹⁵. Цель Вожла — простое описание узуса, «который каждый человек признает мэтром и сувереном живых языков» (Предисловие). Свою книгу он назвал именно «Замечания», а не «Рекомендации» или «Законы», поскольку он «выступает всего лишь свидетелем». У Вожла отсутствует всякое намерение дать объяснение фактам речи или обнаружить лежащие в их основе общие принципы; он не вносит никаких предложений по изменению или «очищению» узуса на рациональной или эстетической основе. Поэтому его грамматику нельзя назвать ни «рациональной», ни предписывающей⁹⁶. Вожла прекрасно осознает проблемы, связанные с выявлением особенностей современного ему узуса и интересно описывает возможные «процедуры обнаружения» [*Op. cit.*, 503 f.]. Среди прочего он отмечает неадекватность тестов на грамматичность, которые состоят из «прямых вопросов»; в наше время некоторые лингвисты-структуралисты предлагали проводить и действительно проводили подобные тесты, но результаты, как и следовало ожидать, оказались неубедительными. Свои наблюдения и комментарии Вожла

* *Вожла Клод-Фавр de* (Vaugelas Cl.-F. de, 1585-1650) - французский грамматист.

не ограничивает поверхностной структурой⁹⁷. Например, он указывает [*Op. cit.*, 562-563], что по форме слова невозможно определить, обладает ли оно «активным значением», «пассивным значением» или тем и другим, будучи двусмысленным. Так, в предложении *Mon estime n'est pas une chose dont vous puissiez tirer grand avantage* букв. 'Мое уважение не есть нечто, из чего вы могли бы извлечь большую выгоду' словосочетание *mon estime* имеет смысл *l'estime que je fais de vous* 'уважение, которое я испытываю к вам', в то время как в предложении *Mon estime ne dépend pas de vous* 'Уважение ко мне не зависит от вас' это же сочетание значит *l'estime que l'on fait* или *l'estime que l'on peut faire de moi* 'уважение, которое испытывают или которое могут испытывать ко мне'; то же верно в отношении слова *aide* 'помощь', *secours* 'поддержка' и *opinion* 'мнение'. У Вожла можно найти и другие примеры заботы об адекватности описания, подтверждаемого множеством аргументов. В то же время в его сочинении предвосхищены многие недостатки современной лингвистической теории; например, он оказался неспособным осознать творческий характер языкового употребления. Так, он считает, что нормальное языковое употребление опирается на словосочетания и предложения, которые «освящены узусом», хотя это не исключает правильного образования новых слов по аналогии (например, *brusqueté* 'внезапность', *pleurement* 'слезливо' [*Op. cit.*, 568 f.]). В этом отношении его представления о языковой структуре, надо полагать, не очень отличаются от представлений Соссюра, Есперсена, Блумфилда и многих других, кто считает, что

инновации могут создаваться только «по аналогии», посредством замены лексических единиц единицами той же категории в жестко заданных рамках (ср. с. 38).

«Философская грамматика» реагировала, собственно говоря, не на дескриптивизм Вожла и других грамматистов как таковой⁹⁹, а на их ограничение *чистым* дескриптивизмом. В «Грамматике» Пор-Рояля всем, кто занимается живым языком, дается следующее общее предписание: «выражения, одобренные всеобщим употреблением и никем не оспариваемые, надлежит расценивать как хорошие, хотя бы они и противоречили правилам и аналогиям языка» [Ор. cit., 83; цит. по: Арно, Лансло 1991, 60; ср.: Арно, Лансло 1990, 141]. Лами в своей «Риторике» вторит Вожла, называя узус «мэтром и суверенным арбитром языков»; по его мнению, «никто не может оспорить у него эту власть, установленную в силу необходимости и поддержанную общим согласием народов» [Lamy 1676, 31]. Дю Марсэ отстаивал мысль, что «грамматист-философ, исследуя конкретный язык, должен рассматривать его таким, каков он есть сам по себе, а не в связи с другим языком»⁹⁹. Таким образом, особенность философской грамматики состояла в том, что она не пыталась очистить или улучшить язык, но стремилась объяснить конкретные, наблюдаемые феномены¹⁰⁰.

Примером, который более века использовался для иллюстрации различия между описательной и объяснительной грамматикой, является правило Вожла [Vaugelas 1647, 385 f.], касающееся относительных придаточных, а именно правило, согласно которому придаточное относительное не может определять имя, употребленное без артикля или с «неопределенным ар-

тиклем» *de*. Например, нельзя сказать // *a fait cela par avarice qui est capable de tout* 'Он сделал это из жадности, которая способна на все' или // *a fait cela par avance, dont la soif ne se peut esteindre* 'Он сделал это из жадности, ненасытность которой невозможно утолить'. Также нельзя сказать // *a été blessé d'un coup de flèche, qui estoit empoisonnée* букв. 'Он был ранен ударом стрелы, которая была отравлена*', хотя можно сказать // *a esté blessé de la flèche, qui estoit empoisonnée* 'Он был ранен (той) стрелой, которая была отравлена' или // *a esté blessé d'une flèche qui estoit empoisonnée* 'Он был ранен (какой-то) стрелой, которая была отравлена'.

В гл. IX «Грамматики» Пор-Рояля вначале приводятся разнообразные исключения из этого правила, а затем формулируется общий объяснительный принцип, охватывающий как примеры, подпадающие под правило Вожла, так и исключения из этого правила¹⁰¹. И в этом случае объяснение опирается на различие между значением и референтностью. В случае «нарицательного имени» (*nom commun*) его «значение» (*signification*) постоянно (исключая двусмысленности и метафоры), однако его «объем» (*estendue*) варьируется в зависимости от именного сочетания, в котором фигурирует существительное. Конкретное употребление существительного называется «неопределенным», «если ничто не указывает на то, как употреблено имя:

* В данном примере *un coup de flèche* представляет собой определенное словосочетание, образующее единую номинацию; ср.: *un coup de pied* 'пинок'.

в общем или частном смысле, или же когда оно употреблено в частном смысле, то в частном определенном или неопределенном» [*Lancelot, Arnauld* 1660, 77; цит. по: *Арно, Лансло* 1990, 135; ср.: *Арно, Лансло* 1991, 57]; в противном случае оно «определенное». Теперь правило Вожла получает новую формулировку в терминах «определенности»: «В современном французском языке мы не должны употреблять местоимения *qui* после имени нарицательного, если оно не определено артиклем или же каким-либо иным способом, который позволяет определить имя нарицательное так же, как артикль» [*Op. cit.*, 77; цит. по: *Арно, Лансло* 1990, 135; ср.: *Арно, Лансло* 1991, 57]. Затем следует подробный анализ, призванный доказать, что в мнимых контрпримерах фигурируют существительные, «определяемые» каким-то иным способом помимо артикля. В числе прочего анализ опирается на предположения относительно глубинной структуры; такие предположения сами по себе не лишены интереса. Это же правило более или менее подробно рассматривается и в сочинениях Дю Марсэ, Бозе и других авторов. Вряд ли стоит вдаваться в детали этого вопроса. В контексте нашего исследования главное заключается в том, что данное правило было использовано как образцовое доказательство необходимости дополнять описание фактов рациональным объяснением в случае, если лингвистика обязана перейти от накопления фактов к подлинной «науке» или, говоря современными терминами, если грамматике суждено стать «философской».

Предлагаемые в универсальной грамматике объяснения, по поводу правила Вожла и в некоторых иных

случаях, не лишены определенного смысла и лингвистического содержания. Однако слишком часто они оказываются довольно бессодержательными, а предположения относительно глубинной ментальной реальности довольно механистичны и не дают ничего нового. Что же касается современной критики «философской грамматики», то она представляется мне бьющей мимо цели. Обычно недостатками грамматики объявляются чрезмерная рациональность, априорность и небрежение языковыми фактами. Однако у нас гораздо больше оснований критиковать философскую грамматику за то, что она слишком ограничивала себя простым описанием фактов, была недостаточно «рациональной»; таким образом, я считаю, что недостатки (или ограничения), присущие философской грамматике, прямо противоположны тем, которые приписываются ей современными критиками. Грамматисты-философы проанализировали множество конкретных примеров; разбирая каждый пример, они постарались показать, что за поверхностной формой скрывается определенная глубинная структура, которая выражает отношения между элементами, определяющими значение этой формы. В данных пределах их работу можно считать чисто описательной (столь же описательной является и современная лингвистика, когда преследует более ограниченную цель — отождествить единицы, образующие поверхностную структуру конкретных высказываний, определить их порядок в предложении и выявить их формально маркированные связи). При чтении сочинений грамматистов-философов мы то и дело поражаемся тому, как они изобретают методы анализа *ad hoc*, даже если анализ

кажется фактически верным. В каждом случае они предполагают существование некоей глубинной структуры, которая действительно передает семантическое содержание высказывания, однако основания выбора той или иной структуры (если отвлечься от фактической правильности выбора) обычно не приводятся. Чувствуется нехватка общей теории языковой структуры, достаточно четко разработанной и достаточно содержательной, чтобы с ее помощью можно было оправдать принимаемые решения. Хотя приводимые в изобилии примеры глубинных структур нередко кажутся вполне правдоподобными, они оказываются столь же недостаточными, что и описания современной лингвистики, в которых разложение конкретных высказываний на фонемы, морфемы, слова и сочетания слов также нередко вполне правдоподобно, тем не менее описание оказывается неудовлетворительным, и все по той же причине. И в первом, и во втором случае отсутствует исходная гипотеза относительно общей природы языка, гипотеза достаточно сильная, чтобы объяснить, почему усваивающий язык ребенок или описывающий язык лингвист, опираясь на доступные им данные, выбирают именно эти, а не иные описания¹⁰².

Более того, в философской грамматике почти отсутствует представление о сложности механизмов, связывающих глубинную структуру с поверхностной, и, за исключением общих набросков, о которых говорилось выше, отсутствует детальное исследование характера приводимых в грамматике правил и формальных условий, которым они удовлетворяют. Кроме того, не проводится четкого различия между аб-

страктной структурой, лежащей в основе предложения, и самим предложением. Общая предпосылка заключается в том, что глубинная структура состоит из реальных предложений с более простой и более естественной организацией и что правила инверсии, эллипсиса и т. д., в соответствии с которыми образуется весь наличный спектр предложений, применяются к этим уже сформированным простым предложениям. Такова была позиция Дю Марсэ, нашедшая эксплицитное выражение в его теории синтаксиса и конструкции, и не приходится сомневаться в том, что таково же было и общее мнение¹⁰³. Совершенно необоснованное предположение, что глубинная структура есть не что иное, как один из типов организации простых предложений, в конечном счете является следствием картезианского постулата о том, что в общем случае принципы, определяющие природу мышления и восприятия, должны быть доступны интроспекции и могут быть вполне осознаны и тщательно сформулированы.

Несмотря на подобные неудачи, поражает та проницательность, с какой в картезианской лингвистике анализировались грамматические структуры. Если за тщательное изучение этих сочинений возьмется лингвист, свободный от предубеждений или предвзятости по отношению к каким-либо априорным ограничениям, определяющим сферу допустимого в лингвистическом анализе, он, без всякого сомнения, будет вознагражден за свои труды. Кроме указанных достижений, следует указать и на другой вклад в науку, внесенный авторами универсальных грамматик XVII и XVIII вв., — вклад, не утративший своей

Н. Хомский. Картезианская лингвистика

ценности и в наше время. Они со всей ясностью сформулировали задачу переориентации языкознания с «естественной истории» на естественную философию (натурфилософию) и подчеркнули важность поисков универсальных принципов и рационального объяснения языковых фактов на пути к достижению этой цели.

Усвоение
и употребление
языка

Итак, мы выделили в «картезианской лингвистике» ряд характерных для нее принципиальных положений, касающихся природы языка и проследили в общих чертах их развитие от Декарта до Гумбольдта. В качестве побочного продукта анализа языка (*langue*), проведенного на фоне рационалистической теории мыслительной деятельности, в «картезианской лингвистике» получили развитие и некоторые положения, касающиеся усвоения и употребления языка. После длительного перерыва им вновь стали уделять должное внимание, хотя их новые формулировки (равно как и формулирование основных идей трансформационной грамматики) возникли в значительной мере независимо от предшествующей традиции.

Суть учения картезианской лингвистики заключается в том, что основные черты грамматической структуры присущи всем языкам и отражают некоторые фундаментальные свойства мыслительной деятельности. Именно это предположение заставило грамматистов-философов сконцентрировать свои усилия на общей грамматике (*grammaire générale*), а не на частной грамматике (*grammaire particulière*); из него же проистекает уверенность Гумбольдта в том, что ана-

лиз глубинных структур поможет обнаружить общую «форму языка», лежащую в основе национального и индивидуального разнообразия¹⁰⁴. Должны существовать некие языковые универсалии, которые ставят пределы разнообразию человеческой речи¹⁰⁵. Исследование универсальных условий, определяющих форму любого человеческого языка, и является задачей «общей грамматики». Эти универсальные условия не усваиваются путем обучения, скорее они определяют те организационные принципы, которые делают возможным усвоение языка; их существование необходимо, чтобы полученные человеком сведения превращались в знание. Если считать эти принципы врожденным свойством мыслительной деятельности, тогда открывается возможность дать объяснение тому вполне очевидному факту, что говорящий на данном языке знает множество вещей, которые он вовсе не усваивал в процессе обучения.

В подобном подходе картезианской лингвистики к проблеме усвоения языка и к проблеме языковых универсалий нашел отражение интерес рационалистической психологии XVIII в. к роли разума в познавательной деятельности человека. Пожалуй, наиболее раннее изложение этой темы, ставшей основной на протяжении большей части XVII в., можно найти в трактате Херберта Черберийского* «Об истине» (*De Veritate*,

**Херберт Черберийский* (Herbert of Cherbury, 1583–1648) — английский философ, поэт и государственный деятель, основоположник английского деизма. В русской философской литературе его имя передается неточно как *Херберт Чербери*.

1624)¹⁰⁶; в нем он развивает мысль о том, что существуют определенные «принципы или понятия, укорененные в разуме», которые «мы прилагаем к предметам, извлекая их из себя... как непосредственный дар природы, предписание естественного инстинкта» [*Herbert of Cherbury* 1937,133]. Хотя эти общие понятия и «возбуждаются предметами», тем не менее «никто, сколь бы грубы ни были его воззрения, не станет думать, что они сообщаются самими предметами» [*Op. cit.*, 126]. Скорее они играют важную роль при отождествлении предметов и уяснении их свойств и отношений. Хотя «истины разума» (intellectual truths), входящие в число общих понятий, «как будто исчезают в отсутствие предметов, тем не менее они не могут оставаться целиком пассивными и праздными, принимая во внимание что они имеют существенное значение для предметов, а предметы для них... Лишь с их помощью разум, имея дело со знакомыми или новыми видами вещей, может решить, дают ли наши субъективные способности точное знание фактов» [*Op. cit.*, 105]. Применяя эти истины разума, «запечатленные в душе диктатом самой Природы», мы можем сравнивать и комбинировать индивидуальные ощущения и интерпретировать опыт в терминах предметов, их свойств, а также событий, в которых они фигурируют. Очевидным образом, принципы истолкования невозможно усвоить целиком из опыта, они могут быть даже полностью независимыми от опыта. По мнению Херберта,

«[они] ни в коей мере не могут быть извлечены из опыта или наблюдения, так что при отсутствии нескольких из них или даже одного мы вообще не смогли бы

приобрести никакого опыта и были бы неспособны к наблюдениям. Ибо, если бы в нашей душе не было записано, что мы обязаны исследовать природу вещей (ведь мы не можем считать, что это повеление исходит из самих предметов) и если бы мы не были наделены общими понятиями для достижения этой цели, нам никогда бы не удалось провести различие между вещами или уяснить себе их общую природу. Порожние формы, разные чудеса и ужасные образы без всякого смысла и даже угрожая нам проходили бы перед нашим мысленным взором, если бы внутри нас не существовала в виде понятий, запечатленных в разуме, та аналогическая способность, посредством которой мы отличаем добро от зла. Откуда еще мы могли бы получить знание? Следовательно, любой, кто возьмется исследовать, в какой мере предметы в их внешних взаимосвязях способствуют их правильному восприятию; кто попытается определить, какой вклад вносим в это дело мы сами, или же попробует выяснить, что должно быть отнесено за счет внешних или случайных источников, а что — за счет влияния врожденных свойств или факторов, обусловленных природой, окажется перед необходимостью опираться на эти принципы. Мы прислушиваемся к голосу природы не только тогда, когда выбираем между добром и злом, полезным и вредным, но и при установлении внешних соответствий, с помощью которых мы отделяем истину от лжи; мы обладаем скрытыми способностями, которые, получив стимул от предметов, быстро на них откликаются»

[Op. cit., 105-106].

Лишь благодаря этим «врожденным способностям или общим понятиям» разум в состоянии определить «хо-

рошо или плохо использовались наши субъективные способности при восприятии» [Op. cit., 87]. Таким образом, этот «естественный инстинкт доставляет нам сведения о природе, способе бытия и цели того, что мы слышим, на что надеемся, чего желаем» [Op. cit., 132].

Необходимо соблюдать осторожность при определении природы общих представлений, врожденных принципов организации и понятий, благодаря которым оказывается возможным приобретение опыта. Для Херберта Черберийского «главный критерий естественного инстинкта» — это «всеобщее согласие» [Op. cit., 139]. Однако необходимо сделать две оговорки. Во-первых, речь идет о всеобщем согласии между «нормальными людьми» [Op. cit., 105]. Иначе говоря, следует исключить «людей, выживших из ума, или умственно отсталых» [Op. cit., 139], а также тех, кто «упрям, безрассуден, слаб умом и опрометчив» [Op. cit., 125]. И хотя указанные выше способности «никогда не отсутствуют полностью» и «даже у сумасшедших, пьяниц и детей можно обнаружить необычайные внутренние способности, которые помогают их самосохранению» [Op. cit., 125], все же всеобщее согласие относительно общих понятий можно обнаружить лишь среди нормальных, рассудительных и обладающих ясным умом людей. Во-вторых, чтобы обнаружить или привести в действие врожденные принципы, необходим соответствующий опыт; «законом или уделом общих понятий, а в действительности и других форм знания, является их инертность, если только предметы не стимулируют их» [Op. cit., 120]. В этом отношении общие понятия похожи на способность видеть, слышать, любить, надеяться и т. д., с которыми мы

рождаемся и которые «остаются скрытыми, когда соответствующие предметы отсутствуют, и даже исчезают вовсе, не подавая никаких признаков своего существования» [*Op. cit.*, 132]. Однако это обстоятельство не должно препятствовать осознанию того, что «общие понятия следует считать не столько результатом опыта, сколько принципами, без которых у нас вовсе не было бы никакого опыта»; оно не должно помешать нам осознать абсурдность теории, согласно которой «наш разум — чистый лист бумаги, и мы получаем способность иметь дело с вещами якобы от самих вещей» [*Op. cit.*, 132].

Все общие понятия «тесно связаны между собой» и могут быть организованы в систему [*Op. cit.*, 120]; несмотря на то, что «в ответ на появление бесчисленного множества новых вещей может пробудиться бесчисленное множество способностей, все общие понятия, которые охватывают этот вид фактов, могут быть заключены в несколько суждений» [*Op. cit.*, 106]. Системе общих понятий не следует отождествлять с «рассудком» (*reason*); она просто является «той частью знания, которой мы наделены в соответствии с первоначальным планом Природы». Важно также иметь в виду, что «природа естественного инстинкта такова, что он проявляется иррационально, т. е. непредумышленно». Рассудок же — это «процесс применения общих понятий, насколько это в его силах» [*Op. cit.*, 120-121].

Херберт Черберийский особо подчеркивал, что наличие врожденных принципов истолкования составляет необходимое предварительное условие опытного знания; они существуют в скрытом виде, поэтому, чтобы привести их в действие или сделать их доступны-

ми для интроспекции, необходимы внешние стимулы. Эти положения составляют значительную часть той психологической теории, которая лежит в основе картезианской лингвистики. Особое внимание Херберт Черберийский уделил тем аспектам познания, которые затем были подробно рассмотрены Декартом, а позднее английскими платониками, Лейбницем и Кантом¹⁰⁷.

Подобного рода психологическая теория представляет собой своего рода платонизм, но без предсуществующих идей. Лейбниц неоднократно заявлял об этом открыто. Так, он полагал, что «мы ничего не можем узнать, о чем мы не имели бы в духе нашем идею» [цит. по: *Лейбниц* 1982, 151]. Он упоминает также «эксперимент» Платона с мальчиком-рабом, описанный в диалоге «Менон»; по его мнению, этот эксперимент является доказательством того, что «душа наша уже знает все эти вещи [в данном случае речь идет об усвоении истин геометрии] потенциально (*virtuellement*), ей нужно лишь *обратить внимание*, чтобы познать эти истины. Можно сказать даже, что она уже обладает и самыми этими истинами, если смотреть на них как на отношения между идеями» [*Leibniz* 1949, §26; *Там же*, 152]¹⁰⁸.

Разумеется, при таком понимании то, что пребывает в нашем уме в латентном состоянии, часто требует соответствующих внешних стимулов для своей активации, и многие врожденные принципы, определяющие природу мышления и опыта, могут применяться совершенно неосознанно. Эту мысль Лейбниц настойчиво повторяет в своих «Новых опытах».

Бессознательный характер принципов языка и естественной логики¹⁰⁹ и то обстоятельство, что они

в значительной мере составляют предварительное условие усвоения языка, а не возникают как следствие «образования» или «обучения», являются общими предпосылками картезианской лингвистики¹¹⁰. Так, Кордемуа рассматривая процесс усвоения языка [Cordemoy 1668, 40 ff.], уделяет внимание той роли, которую играет обучение и своего рода обусловливание, но он также отмечает, что многое из того, что знают дети, приобретается помимо всякого обучения¹¹¹, поэтому он приходит к выводу, что усвоение языка предполагает наличие «разума в его целостности, ибо в конечном счете этот способ овладения речью обусловлен такой мощной способностью к различению и таким совершенным разумом, что невозможно представить себе что-либо более поразительное» [Op. cit., 59].

Выводы, к которым пришли рационалисты, повторяются и в сочинениях некоторых романтиков. Так, А. В. Шлегель в работе «Общие соображения об этимологии» пишет, что «человеческий разум можно сравнить с чрезвычайно легко воспламеняемой материей, которая, однако, не загорается сама собою. Для этого нужно, чтобы в душу запала искра» [Schlegel 1846, 127]. Для пробуждения разума необходимо общение с уже сформировавшимся интеллектом. Однако внешние стимулы нужны лишь для того, чтобы привести в действие врожденные механизмы; они вовсе не определяют форму усвояемого. В действительности «такое усвоение [языка] через общение уже предполагает наличие способности к обретению языка» [Schlegel 1963, 234]. В определенном смысле человек наделен языком с момента рождения, а именно «в подлинном философском смысле, когда все, что, по расхоже-

му мнению, представляется врожденным у человека, должно проявляться лишь через его собственную деятельность» [Ор. cit., 235]. Подобного рода замечаний у Шлегеля можно найти немало, но что он в действительности имел в виду, вопрос спорный; напротив, Гумбольдт трактует проблему усвоения языка совершенно в духе платонизма. Для него «процесс обучения... всегда сводится к процессу воспроизводства» [Humboldt 1960, 126; цит. по: Гумбольдт 2000, 112]. Вопреки видимости, «языку, по сути дела, нельзя обучить, а можно только пробудить его в душе; мы можем только подать ему нить, ухватившись за которую он будет развиваться уже самостоятельно» [Ор. cit., 66]; таким образом, языки в некотором смысле являются «самостоятельными творениями индивидов» [Ор. cit., 50; ср.: Там же, 66].

«Усвоение языка детьми — это не ознакомление со словами, не простая закладка их в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности с годами и упражнением»

[Ор. cit., 21; Там же, 78].

«Что у детей происходит не механическое выучивание языка, а развертывание языковой способности, доказывается еще и тем, что коль скоро для развития главнейших способностей человека отведен определенный период жизни, то все дети при разных обстоятельствах начинают говорить и понимать внутри примерно одинаковых возрастных пределов с очень небольшими колебаниями»

[Ор. cit., 72; Там же, 78].

Короче говоря, усвоение языка — это рост и созревание сравнительно неизменных способностей в подходящих для этого внешних условиях. Форма усваиваемого языка в значительной мере обусловлена внутренними факторами. Ребенок способен выучить любой язык лишь потому, что имеется фундаментальное соответствие между всеми человеческими языками, потому что «человек повсюду одинаков» [*Humboldt* 1960, 72-73; *Там же*, 79]^{III}. Более того, функционирование языковой способности происходит оптимальным образом в определенный «критический период» умственного развития.

Важно подчеркнуть, что рационалисты XVII в. подходили к проблеме обучения, в частности обучения языку, совершенно недогматично. Они подметили, что знание формируется на основе весьма отрывочных и неадекватных данных и что выученное обладает таким единообразием, которое никак не может быть объяснено одними лишь этими данными (см. прим. 111). Поэтому они приписали разуму определенные свойства, составляющие предварительные условия усвоения опытного знания. По сути дела подобный способ рассуждения взял бы на вооружение и современный исследователь, заинтересованный в раскрытии некоего механизма в случае, когда в его распоряжении имеются лишь данные на входе и на выходе. Напротив, для спекуляций эмпиристов, особенно в их современной версии, характерно принятие некоторых априорных положений относительно природы обучения (оно должно основываться на создании сети ассоциаций, на повторном стимулировании или представлять собой элементарные индуктивные процеду-

ры, например, таксономические процедуры современного языкознания и т. п.); при этом не учитывается необходимость проверки этих положений с учетом единообразия, наблюдаемого «на выходе», с учетом тех знаний и верований, которые приобретаются в результате «обучения». Поэтому обвинение в априоризме или догматизме, часто выдвигаемое против рационалистической психологии и философии разума, явным образом оказывается не по адресу. Литературу по этому вопросу см. в прим. 111.

Смелая гипотеза о врожденном характере ментальных структур, выдвинутая в рационалистической психологии и философии разума, устранила необходимость проводить резкое различие между теорией восприятия и теорией обучения. В обоих случаях имеют место по существу одни и те же процессы; при интерпретации данных, полученных от органов чувств, используется совокупность неких латентных принципов. Разумеется, существует различие между начальной «активацией» латентной структуры и ее дальнейшим использованием после того, как она поступает в распоряжение разума для истолкования (точнее, для детерминации) опытного знания. Иными словами, неясные идеи, которые всегда присутствуют в уме в латентном состоянии, могут стать отчетливыми (см. прим. 108), и в этот момент они способны обострить и усилить восприятие. Например,

«опытный и знающий портретист заметит множество изящных и необычных приемов, свидетельствующих об искусности; он с величайшим наслаждением будет рассматривать отдельные мазки и тени на картине там,

где глаз обычного человека вовсе ничего не заметит; музыкант же, слушая, как ансамбль опытных исполнителей играет превосходное сочинение, состоящее из многих частей, придет в необычайный восторг от многочисленных гармоничных мелодий и приемов, к которым неискушенное ухо окажется совершенно глухим»

[*Cudworth* 1838, 446].

Вся разница в «приобретенном мастерстве»; «в голове любого художника есть множество внутренних предвосхищений мастерства и искусства», которые позволяют ему истолковать чувственные данные так, что они не будут казаться «простым шумом, звоном и стуком», пассивно воспринимаемым органами чувств; подобным же образом образованный ум способен истолковать «жизненный механизм вселенной» в терминах «внутренней симметрии и гармонии во взаимосвязях, пропорциях, предрасположениях и соответствиях вещей друг другу в великой системе мира» [*Ibid.*]. Также, когда мы смотрим на картину друга и «судим о ней», мы используем некую «инородную и случайную», но предсуществующую идею [*Op. cit.*, 456-459]. Однако, отмечая различия между обучением и восприятием, рационалисты все же считают, что существенные сходства между этими когнитивными процессами перевешивают их сравнительно поверхностные различия. По этой причине часто остается неясным, что же является объектом анализа: то ли мыслительная деятельность в процессе восприятия или усвоения, когда происходит выбор уже четко оформленной идеи в связи с конкретным чувствен-

ным восприятием, то ли придание четкости тому, что до этого было смутным и имплицитным.

Декарт ясно изложил свою теорию познания в «Замечаниях на некую программу» (1647) [*Descartes* 1955, 442–443]:

«Всякий человек, наблюдающий границу, до которой простираются наши чувства, и точное содержание того, что именно может быть передано ими нашей способности мышления, должен признать, что чувства не доставляют нам никаких идей о вещах в том виде, как они формируются нашим мышлением, вплоть до того, что в наших идеях нет ничего, что не было бы врожденным умом, или способности мыслить, за единственным исключением обстоятельств, сопровождающих наш опыт: они заставляют нас выносить суждение о том, какие из тех идей, коими мы на данный момент располагаем в области нашего мышления, относятся к таким-то и таким-то вещам, находящимся вне нас; но происходит это не потому, что упомянутые вещи посылают нашему уму именно эти идеи через посредство органов чувств, но в силу того, что они действительно посылают нечто дающее ему повод именно в данный момент, а не в иной сформировать эти идеи благодаря его врожденной способности. Несомненно, в наш ум не поступает от внешних объектов через посредство органов чувств ничего, кроме неких телесных движений... однако ни сами эти движения, ни возникающие из них фигуры не воспринимаются нами в том виде, в каком они осуществляются в наших органах чувств... Отсюда следует, что сами идеи движений и фигур у нас врожденны. При этом идеи боли, красок, звуков и т. д. должны быть у нас врожденными тем более, что наш ум способен создавать их себе по поводу

неких телесных движений. И что можно вообразить себе более нелепого, чем фантазия, будто все общие понятия, присущие нашему уму, ведут свое происхождение от этих движений и без них не могут существовать? Я хотел бы, чтобы *наш автор* мне указал, какое именно телесное движение может образовать в нашем уме некое общее понятие, например, что *две вещи, подобные одной и той же третьей, подобны также между собой*, или любое другое? Ведь все телесные движения носят частный характер, указанные же понятия универсальны и не имеют ничего сродного с движениями, никакого к ним отношения»

[цит. по: Декарт 1989, 472-473].

Вполне сходные мысли развивал и Р. Кедворт¹¹³. Он проводил различие между по сути дела пассивной способностью к ощущению и активными врожденными «познавательными силами», благодаря которым люди (и только они) «способны понимать или оценивать то, что воспринимается чувствами извне». Эта познавательная сила не просто склад идей, а «способность извлекать интеллигибельные идеи и понятия о вещах из самой себя» [Cudworth 1838, 425]. Функция органов чувств заключается в том, чтобы «предложить или предъявить некий предмет уму, дать ему возможность осуществлять на нем свою деятельность». Например, когда мы смотрим на улицу и видим прохожих, мы полагаемся не столько на наши ощущения (самое большее, что они показывают нам, — это поверхности, то есть головные уборы и платье, а не самих людей), сколько на работу разума с чувственными данными [Op. cit., 409-410]^{III}. «Интеллигибельные фор-

мы, посредством которых понимаются или познаются вещи, это не штампы или отпечатки, которые душа пассивно воспринимает извне, а идеи, энергично выдвигаемые или активно извлекаемые из себя». Таким образом, предшествующее знание и настроенность играют важную роль в определении того, что мы видим (например, знакомое лицо в толпе) [*Op. cit.*, 423-424]. Как заметил еще Аристотель, именно благодаря использованию нами при восприятии интеллектуальных идей «то знание, которое более абстрактное и далекое от материи, оказывается более точным, интеллигибельным и доказуемым, чем то, которое имеет дело с конкретными и материальными вещами» [*Op. dt*, 427]¹¹⁵. Свое утверждение Кедворт поясняет на примере восприятия нами геометрических фигур [*Op. cit.*, 455 f.]. Совершенно очевидно, что все воспринимаемые нами треугольники неправильные; если и нашелся бы совершенный в физическом отношении треугольник, мы бы не смогли его обнаружить с помощью наших органов чувств: «И любой неправильный и несовершенный треугольник в столь же полной мере треугольник, как и самый совершенный треугольник». Поэтому наши суждения по поводу предметов внешнего мира, которые мы формулируем в терминах правильных фигур, само наше понятие «правильной фигуры» проистекает из «правила, образца и примера», которые порождаются нашим разумом как своего рода «предвосхищение». Понятие треугольника или понятие «правильной пропорциональной и симметричной фигуры» возникает в нас не в результате обучения, оно «проистекает от самой природы», равно как и более общее человеческое понятие «красоты и уродства материальных объек-

тов»; также и априорные истины геометрии не могут быть выведены из показаний органов чувств. Только при помощи этих «внутренних идей», производимых «внутренней познавательной силой» разума, последний способен «познавать и понимать все внешние индивидуальные вещи» [*Op. cit.*, 482].

В весьма сходных терминах обсуждает эту тему Декарт в своем «Ответе на пятые возражения»:

«Поэтому, когда впервые в детстве мы видим нарисованную на бумаге треугольную фигуру, мы не можем судить по ней, как следует представлять себе подлинный треугольник в том виде, в каком представляют его себе геометры, поскольку истинный треугольник содержится в этой фигуре точно так, как статуя Меркурия содержится в необработанном куске дерева. Однако в нас уже имеется истинная идея треугольника, и нашему уму представить ее легче, чем более сложную фигуру, нарисованную на бумаге, поэтому, когда мы видим эту сложную фигуру, мы воспринимаем не ее как таковую, а скорее истинный треугольник»

[*Descartes* 1955, II, 227-228]*.

Кедворт также считает, что истолкование чувственных данных в терминах предметов и отношений между ними, в терминах причин и следствий, отноше-

* Имеются в виду «Ответы автора на пятые возражения [на „Размышления“ Декарта], сделанные господином Гассенди». Цитата приводится в переводе с английского, поскольку в доступном переводе оригинала текст звучит несколько иначе, хотя мысль автора остается неизменной.

ний между целым и частью, симметрии, пропорции, в терминах функций, выполняемых предметами, и характерных для них видов использования (в случае любых «искусственных вещей» или «сложных естественных вещей»), в терминах моральных суждений и т. п. является результатом организующей деятельности ума [*Cudworth* 1838, 433 f.]. То же можно сказать и по поводу единства предметов (или, например, мелодии); органы чувств подобны «узкой трубе телескопа», благодаря которой мы получаем лишь последовательный ряд отдельных картинок, и только разум способен дать нам «одну всеобъемлющую идею целого» со всеми его частями, соотношениями, пропорциями и гештальтными качествами. Именно в таком смысле мы говорим об интеллигибельной идее предмета; она не «наносится извне на душу в виде отпечатка или оттиска, а возникает в связи с чувственной идеей, которая возбуждается и порождается внутренней активной и всеобъемлющей силой самого интеллекта» [*Op. cit.*, 439] ^{III}.

Подобного рода взгляды на процесс восприятия были обычны для XVII в., затем они были отброшены сторонниками эмпиризма и вновь получили развитие у Канта и романтиков ¹¹⁷. Ср. следующие рассуждения Колриджа по поводу активного характера процесса восприятия:

«Вряд ли даже самый рядовой наблюдатель не сталкивался со случаями, когда знание, данное разуму, возбуждает и усиливает способности, посредством которых это знание может быть получено независимо; это в равной степени верно и в отношении способностей разума, и в отношении способностей органов

чувств... Просто удивительно, насколько малым может быть подобие, достаточное для полного восприятия звука или видимого предмета, если соответствующий звук или предмет известен заранее и предвосхищается в нашем воображении, и насколько малым может быть отклонение или изъян, чтобы восприятие целого оказалось путаным, неотчетливым или ошибочным, если заранее не было получено никаких даже самых скудных сведений. Вот почему иностранцу всегда кажется, что туземцы говорят на неизвестном ему языке невероятно быстро, а тем, кто только начинает разбираться в нем, кажется, что они говорят ужасно неразборчиво»

[цит. по: *Snyder* 1929, 133–134].

«Можно ли сказать, что природа предъявляет нам вещи, не подталкивая нас при этом ни на какие действия, можно ли сказать, что она предъявляет их при любых условиях в совершенном виде, словно их только что изготовили? Так могут представлять себе дело крайне легкомысленные люди... недостаточно иметь некую схему или общее очертание предмета, на который мы захотим обратить внимание, даже если речь идет всего лишь о способности узнавать его...»

[*Op. cit.*, 116].

Наиболее четкую формулировку сходных идей, касающихся восприятия и истолкования речи, мы снова находим опять же у Гумбольдта. В работе [*Humboldt* 1960, 70–71] он подчеркивает фундаментальное различие между восприятием речи и восприятием неартикулированных звуков (ср. прим. 37). Во втором случае достаточна «животная способность восприя-

тия» [цит. по: *Гумбольдт* 2000, 78]. Однако восприятие человеческой речи не сводится к «простому обоюдному вызыванию друг в друге [образов] звуков и [образов] обозначенных предметов» [*Там же*, 78; цит. с невольными изменениями]. Во-первых, слово «есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе» [*Op. cit.*, 74; *Там же*, 80]. Во-вторых, для точного восприятия речи требуется анализ поступающего сигнала в терминах глубинных элементов, которые функционируют в акте производства речи, носящем по существу творческий характер; поэтому необходима активизация порождающей системы, которая играет определенную роль также и при производстве речи, ибо элементы и отношения между ними определяются только в терминах неизменных правил. Таким образом, при восприятии речи должны действовать глубинные «законы производства». Если бы разум не владел этими законами, если бы он не был в состоянии «превращать эту возможность в действительность», то он был бы способен справляться с механизмами артикулированной речи не больше, чем слепой человек способен воспринимать цвета. Из этого следует, что как в механизмах восприятия, так и в механизмах производства речи должна использоваться глубинная система порождающих правил. Коммуникация становится возможной лишь потому, что глубинная система оказывается одинаковой у говорящего и слушающего; в конечном счете общность глубинных порождающих систем объясняется единообразием человеческой природы (ср. выше, с. 131 и прим. 112).

«Все, что есть в душе, возникает в ней благодаря деятельности, и в соответствии с этим речь и понимание есть различные действия одной и той же языковой силы. Процесс речевого общения нельзя сравнивать с простой передачей материала. Слушающий так же, как и говорящий, должен воссоздать его посредством своей внутренней силы, и все, что он воспринимает, сводится лишь к побуждению настроиться на соответствующий лад... Таким образом, в каждом человеке заложен язык в его полном объеме, а это означает, что в каждом человеке живет стремление (стимулируемое, регулируемое и ограничиваемое определенной силой) под действием внешних и внутренних побуждений последовательно порождать язык в целом, и притом так, чтобы каждый человек был понят другими людьми.

Понимание, однако, не могло бы опираться на внутреннюю самостоятельную деятельность, и речевое общение должно было быть чем-то другим, а не только ответным побуждением языковой способности слушающего, если бы за различиями отдельных людей не стояло бы, лишь расщепляясь на отдельные индивидуальности, единство человеческой природы»

[Там же, 77—78; цит. с изм.].

Глубинная структура порождающих правил должна активизироваться даже при восприятии одного-единственного слова. Неверно представлять себе дело так, продолжает Гумбольдт, что в уме и говорящего, и слушающего хранится общий запас четких и целиком сформированных понятий. Скорее воспринимаемые звуки побуждают ум порождать соответствующие понятия своими собственными силами:

«Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и стимулируют внутреннее производство понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого образуются соответствующие, но не тождественные понятия»

[Ор. *cit.*, 213; *Там же*, 165—166; цит. с изм.].

Короче говоря, при восприятии речи должно иметь место внутреннее порождение как представления о сигнале, так и представления о связанном с ним семантическим содержанием.

В настоящее время при исследовании процессов восприятия вновь стали уделять внимание роли внутренних схем и моделей¹¹⁸; все более глубоким становится понимание того, что при восприятии используется не просто совокупность неких схем, а скорее система неизменных правил их порождения¹¹⁹. И в этом отношении вполне корректно говорить о текущих исследованиях как о продолжении традиций картезианской лингвистики вместе с лежащей в ее основе психологической теорией.

Выводы

Обратимся еще раз к высказыванию Уайтхеда, с которого я начал свое изложение. Складывается впечатление, что после долгого перерыва лингвистика и когнитивная психология вновь обратились к тем методам изучения языковых структур и мыслительных процессов, которые впервые были отчасти разработаны, а отчасти обновлены в «век гениев», а затем успешно развивались вплоть до начала XIX в. В центре интересов языкознания вновь оказался творческий аспект языкового употребления, поэтому теории универсальной грамматики, сформулированные в XVII-XVIII вв., были возрождены и детально разработаны в теории трансформационной порождающей грамматики. Возобновление исследования универсальных формальных ограничений, накладываемых на систему языковых правил, дает возможность вновь приняться за поиски более основательных объяснений тех феноменов, которые обнаруживаются в конкретных языках и наблюдаются в реальных речевых актах. Наконец-то современные исследователи стали обращать внимание на некоторые простейшие языковые явления, которыми пренебрегали в течение длительного времени.

В пример можно привести то обстоятельство, что носитель языка знает множество вещей, которым он вовсе не обучался, а его обычное языковое поведение, по-видимому, невозможно объяснить в терминах «регуляции поведения стимулами», «обусловливания», «обобщения и аналогии», «моделей» и «привычных структур» или «предрасположений к реакции» в любом приемлемом и вразумительном смысле этих терминов, которыми слишком долго злоупотребляли. В результате мы смогли по-новому взглянуть не только на структуру языка, но и на предварительные условия овладения языком и на функции абстрактных систем интериоризированных правил в процессе восприятия. В своем обобщающем очерке картезианской лингвистики и построенной на ее основе теории мышления я постарался показать, что многое из того, что оказалось на первом плане у современных лингвистов, было предвосхищено и даже эксплицитно сформулировано в более ранних и в значительной мере позабытых к настоящему времени исследованиях.

Следует иметь в виду, что наш обзор довольно фрагментарен, а потому иногда он может вводить в заблуждение. Некоторые известные философы (Кант, например) не были упомянуты, или же их труды не получили должного освещения. Сама структура нашего обзора вносит некоторое искажение в историческую перспективу, поскольку он представляет собой проекцию в прошлое ряда идей современной науки, а не систематическое описание тех условий, в которых эти идеи возникли и заняли подобающее им место. Поэтому получилось так, что упор был сделан на сходствах различных теорий, а расхождения и против-

Выводы

речия остались в тени. Все же я надеюсь, что даже столь фрагментарный обзор поможет внушить мысль, что отсутствие непрерывности в развитии теоретического языкознания значительно повредило ему и что тщательный анализ классической теории языка вместе с сопутствующей ей теорией мыслительных процессов может дать весьма ценные результаты.

Примечания

- ¹ [*Grammont* 1920, 439]. Цитируется по [*Harnois* 1929]. Арнуа в целом согласен с таким мнением и считает, что языкознание раннего периода едва ли заслуживает наименования «науки»; сам же он, по собственному признанию, занимается «историей лингвистики до появления лингвистики как таковой». Подобные взгляды были в свое время широко распространены.
- ² Под «генеративной грамматикой» я понимаю описание скрытой (*tacit*) компетенции говорящего-слушающего, которая лежит в основе его конкретного исполнения (*performance*) в процессе производства и восприятия (понимания) речи. Рассуждая в теоретическом плане, можно сказать, что задачей генеративной грамматики является точное определение способов совмещения звуковых и смысловых репрезентаций, диапазон которых бесконечен. Таким образом, генеративная грамматика — это гипотеза о том, как говорящий-слушающий истолковывает высказывания; при этом она абстрагируется от многочисленных факторов, которые взаимодействуют со скрытой компетенцией

и определяют конкретный вид исполнения. Из последних работ на эту тему см. [Katz, Postal 1964; Chomsky 1964; 1965].

- ³ Не следует также полагать, что те или иные исследователи, относимые мною к тому, что я называю «картезианской лингвистикой», считали себя частью единой «традиции». Разумеется, это не так. Используя конструкт «картезианская лингвистика», я собираюсь описать ту совокупность идей и тот круг интересов, которые характеризуют: а) традицию «универсальной» или «философской грамматики», идущей от «Общей и рациональной грамматики» Пор-Рояля (1660); б) общее языкознание периода романтизма, равно как и периода, непосредственно за ним последовавшего; в) рационалистическую философию мышления, которая отчасти служит общим фоном как для философской грамматики, так и для общего языкознания. Картезианские корни универсальной грамматики общепризнаны; например, Сент-Бев говорит о грамматической теории Пор-Рояля как об «ответвлении картезианства, развитию которого сам Декарт вовсе не способствовал» [Sainte-Beuve 1888, 539]. Связь общего языкознания периода романтизма с указанным комплексом идей не так очевидна, но все же я попытаюсь показать, что некоторые из его основных особенностей (более того, те из них, которые, по моему мнению, предоставляют наибольшую ценность для лингвистической теории) можно связать с картезианскими идеями предшествующего периода.

При обсуждении романтических теорий языка и мышления в очерченных мною рамках мне придется исключить из рассмотрения другие важные и характерные их аспекты, в частности органицизм, который (верно или неверно) был истолкован как реакция на картезианский механицизм. В целом необходимо подчеркнуть, что в данном случае меня интересует не история передачи определенных идей и учений, а их содержание и в конечном счете их значение для современной науки.

Подобного рода исследование полезно было бы продолжить как часть более общих разысканий на тему картезианской лингвистики в ее противопоставлении той совокупности теорий и гипотез, которую можно назвать «эмпирической лингвистикой»; примером последней являются современная структурная и таксономическая лингвистика, а также параллельные исследования в современной психологии и философии. Однако в данной книге у меня нет возможности развить это противопоставление со всей полнотой и ясностью.

⁴ Следует учесть, что мы рассматриваем период, предшествовавший раздельному существованию лингвистики, философии и психологии. Стремление каждой из этих дисциплин «эмансипироваться» от других, избежать всякой контаминации с ними типично именно для современного периода. И в этом случае исследования, ведущиеся в рамках генеративной грамматики, также заставляют нас обратиться к более ранним взглядам на место языкознания среди прочих наук.

Примечания

⁵ Декарт оставляет открытым вопрос, решение которого выходит за пределы возможностей человеческого разума; это вопрос о том, являются ли выдвигаемые им объяснительные гипотезы «верными» в любом абсолютном смысле. Он ограничивается заявлением об их адекватности, хотя, очевидным образом, это не единственное их качество. См. его «Принципы философии», принцип ССIV.

Следует четко представлять себе, в каком контексте велся спор по поводу границ механистического объяснения. Предметом спора является не существование разума как некой субстанции, сущность которой заключается в мышлении. Для Декарта это очевидная данность, подтверждаемая интроспекцией; доказать существование разума в действительности легче, чем доказать существование тела. Истинная проблема заключается в том, обладают ли разумом также и другие люди. Существование у них разума можно доказать, исходя лишь из косвенных свидетельств наподобие тех, что приводятся Декартом и его последователями. Их попытки доказать существование разума у других людей в глазах современников выглядели не очень убедительными. Так, Пьер Бейль* характеризует предположительную неспособность картезианцев доказать существование разума у других людей «как, пожалуй, наиболее слабую сторону картезианства» (статья «Rorarius» в [Bayle 1965, 231]).

* *Бейль Пьер* (Bayle P., 1647-1706) — французский философ и публицист, критик философии Декарта.

- ⁶ «Рассуждение о методе», часть V. См. [*Descartes* 1955, 116]. Приводимые ниже цитаты даются по этому изданию [*Op. cit.*, 116-117].

В общем случае я использую английские переводы, если они, равно как и оригиналы, одинаково мне доступны; в иных случаях я цитирую оригинал, если он имеется в моем распоряжении. При цитировании первоисточников я иногда слегка упорядочиваю правописание и пунктуацию.

- ⁷ О современных подходах к этой проблеме и о некоторых новых данных см. [*Lenneberg* 1964].

- ⁸ Очевидным образом свойство неограниченности и свойство независимости от стимулов не связаны друг с другом. Автомат может выдавать только два ответа, распределяя их случайным образом. Магнитофон или человек, чье знание языка ограничивается одной лишь способностью писать под диктовку, дают на выходе ничем не ограниченный результат, который не является, однако, независимым от стимулов в указанном выше смысле. Поведение животных всегда рассматривается картезианцами как неограниченное, но не свободное от стимулов, а значит, не «творческое» в том смысле, в каком считается творческой человеческая речь. Ср., например, высказывание Франсуа Бейля: «А поскольку разнообразие впечатлений, производимых предметами на органы чувств, безгранично, то и побуждения духов перемещаться в мускулы также могут быть бесконечно разнообразными; следовательно, бесконечно разнообразными будут телодвижения животных; их тем больше, чем большее

Примечания

разнообразии частей тела и больше изобретательности и искусства в их строении» [Bayle 1670, 63]. Неограниченность же человеческой речи как выражение безграничности мысли носит совсем иной характер, ибо она обусловлена свободой от контроля посредством стимулов и возможностью приспособления к вновь возникающим ситуациям.

Важно различать «соответствие поведения ситуации» и «контроль над поведением посредством стимулов». Последний характерен и для автоматов, первое же, во всем его человеческом разнообразии, считается не поддающимся механистическому объяснению.

Исследования по коммуникации животных, проводимые в настоящее время, до сих пор не позволили обнаружить какие-либо факты, противоречащие предположению Декарта о том, что человеческий язык в основе своей имеет совершенно иной принцип. Любая известная нам система коммуникации животных либо состоит из неизменного числа сигналов, каждый из которых связан со специфическим набором внешних условий или внутренних состояний, стимулирующих производство этого сигнала, либо из постоянного числа «языковых параметров», каждый из которых связан с неязыковым параметром таким образом, что выбор некой точки в одном измерении однозначно указывает на соответствующую точку в другом измерении. Ни в том, ни в другом случае не обнаруживается существенного сходства с человеческим языком. Коммуникация людей и коммуникация животных обнаруживают общность лишь на очень

высоком уровне абстракции, когда рассматриваются вместе также и почти все иные типы поведения.

⁹ Таким образом, в общем случае «хотя такая машина многое могла бы сделать так же хорошо и, возможно, лучше, чем мы, в другом она непременно оказалась бы несостоятельной, и обнаружилось бы, что она действует не сознательно, а лишь благодаря расположению своих органов» [цит. по: *Декарт* 1989, 283; ср.: *Декарт* 1950, 301]. Поэтому существуют два «верных средства» [цит. по: *Декарт* 1989, 283] определения того, является ли данное устройство действительно человеком; одно доказательство доставляет нам творческий характер языкового употребления, другое — разнообразие человеческих действий. «Поэтому совершенно невозможно (Холдейн и Росс переводят „морально невозможно“) представить себе машину с таким разнообразием органов, которое заставляло бы ее действовать во всех случаях жизни так, как нас заставляет действовать наш разум»*. Исходя из этого положения, Декарт подробно излагает свою концепцию «познающей силы» как способности, которая не является целиком пассивной; «строго говоря, она именуется умом, когда она то создает в фантазии новые идеи, то имеет дело с уже созданными»

* В данном случае переводчик вынужден предложить свою версию перевода ввиду неточности опубликованных переводов [ср.: *Декарт* 1950, 301; 1989, 283]. Выражение «морально невозможно» в английском переводе и в [*Декарт* 1950] безусловно является буквализмом.

Примечания

[цит. по: *Декарт*, 1989, 117, 118], причем она действует таким образом, что не поддается полному контролю со стороны органов чувств, воображения или памяти («Правила для руководства ума», 1628; [цит. по: *Descartes* 1955, 39]). Ранее Декарт отмечал, что «само совершенство действий животных наводит на мысль, что у них отсутствует свобода воли» (ок. 1620 г.; цит. в [*Rosenfield* 1941, 3] как первое упоминание Декартом проблемы наличия у животных души).

Мысль о том, что «познавательную силу» можно назвать «умом», только когда она имеет в некотором смысле творческий характер, возникла еще до Декарта. Одним из источников, который, надо полагать, был хорошо ему знаком, является книга Хуана Уарте* «Исследование способностей к наукам» (1575), которая неоднократно переводилась на другие языки и была широко известна (цитаты я привожу по английскому переводу Беллами [*Huarte* 1698]). В истолковании Уарте корень испанского слова *ingenio* означает «порождать», «генерировать»; Уарте связывает его с лат. *gigno* «рождаю», *genero* «порождаю», *ingenero* «создаю, порождаю» [*Op. cit.*, 2].** Так, «в человеке имеются две порождающие способности, одна общая

* *Уарте Хуан* (HuarteJ., ок. 1530 - ок. 1592) — испанский врач и философ.

**Х. Уарте ошибочно производит исп. *ingenio* непосредственно от последнего глагола *ingenero*, «который обозначает порождение внутри себя цельной и истинной фигуры, представляющей в живом виде природу данного предмета, изучаемого наукой» [*Уарте* 1960, 38].

с неразумными животными и растениями, другая же, присущая также духовным субстанциям, Богу и ангелам» [*Op. cit.*, 3]. «Разум [англ. *wit*, йен. *sh-genio*] есть порождающая способность» [*Op. cit.*, 3; *Уарте* 1960, 36]. Будучи отличной от «гения» (*Genius*) Бога, «разумная душа» и «духовные субстанции» человека не имеют «достаточной порождающей способности и силы, чтобы наделить [понятия] реальным бытием и субстанциальностью во внешнем мире»; «их плодородие способно только производить внутри памяти акциденцию», «фигуру и образ того, что мы желаем знать и понимать»; действительное же существование они могут обрести благодаря труду и искусству [*Там же*, 4-5]. Искусства и науки характеризуются как «своего рода образы и фигуры, порождаемые разумом [людей] в их памяти; эти фигуры дают живое изображение естественного состояния предмета, науку о котором желает изучить человек» [*Op. cit.*, 6; *Там же*, 37; цит. с изм.]. Тот, кто познает некий предмет, должен «порождать внутри себя цельную и истинную фигуру», отражающую его принципы и структуру [*Там же*, 6]. Истинно деятельный ум «таков, что, исходя из одного только предмета и собственного понимания, без помощи чего-либо другого, он может породить тысячи понятий, никогда не виденных и не слышанных ранее» [*Op. cit.*, 7; *Там же*, 38; цит. с изм.]. Приписываемый Аристотелю принцип эмпиризма — «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» — применим только к «покорным умам», лишенным означенной способности. Хотя «совершенный ум» — это

Примечания

лишь идеальный случай, «однако родилось множество людей, приблизившихся к нему; они изобрели и говорили то, чего они никогда раньше не слышали ни от своих учителей и ни от кого-либо другого...» [Ор. cit., 16; Там же, 43]. Есть еще и третий вид ума, «благодаря которому обладающие им люди, без всякого искусства и обучения, рассуждают о столь тонких и удивительных и в то же время истинных вещах, которых раньше никто не видел, не слышал и не описывал и даже не мог помыслить» [Там же, 43; цит. с изм.]; в таких умах есть «примесь сумасшествия» [Там же, 17]. Эти три типа разума опираются соответственно на память, разум и воображение. В целом «все благородство и величие [человека], как говорит Цицерон, состоит в том, что он наделен умом и красноречием. „Как украшение человека есть ум, так свет и красота ума есть красноречие“. Одним этим человек отличается от неразумных животных и уподобляется Богу; для него это высшая степень величия, которой он может достичь в соответствии со своей природой» [Ор. cit., 22; Там же, 46; цит. с изм.]. Самая опасная «неспособность ума», из-за которой люди «очень мало отличаются от неразумных животных», — это та неспособность, которая «очень напоминает неспособность евнухов... к деторождению»; она не позволяет рациональной способности этих людей постигнуть «первейшие принципы всех искусств, наличие которых предполагается в уме приступающего к обучению человека, прежде чем он начнет учиться; их существование может быть доказано только тем, что ум воспринимает их как уже известные

вещи; если же подобные люди окажутся не в состоянии сформировать представление о них в своем уме, то мы имеем дело с полной неспособностью к наукам» [*Там же*, 49]. В таком случае «ни удары, ни наказания, ни крики, ни искусство учителя, ни строгая дисциплина, ни какие-либо примеры, ни время, ни опыт, ни другие средства пробуждения ума не смогут вразумить их и заставить что-либо порождать» [*Op. cit.*, 27-28; *Там же*, 49].

См. также [*Gunderson 1964*]; в этой работе содержится интересный анализ аргументации Декарта в связи с нынешними дискуссиями по поводу «искусственного интеллекта». Общее описание развития взглядов Декарта на возможности и пределы механистического объяснения и их критику см. в [*Rosenfield 1941*] и [*Kirkinen 1961*].

¹⁰ Перевод отрывков из этого письма см. в [*Toggey 1892*, 281-284].

¹¹ То есть посредством обусловливания. Когда животных обучают «с помощью искусства», то они совершают свои действия в соответствии со страстями в том смысле, что их поведение связано с «возбуждением ожидания еды» либо с «движениями страха, надежды или радости», которые составляют первоначальное условие обучения. Поэтому Декарт делает вывод: поскольку при обычном пользовании речью «словесное поведение» независимо от легко выделяемых внешних стимулов или внутренних состояний, то, очевидным образом, оно не является результатом обучения индивида. Он не стал развивать далее эту мысль, поскольку, вероятно,

Примечания

- полагал, что столь очевидный факт не заслуживает отдельного обсуждения. Следует отметить, что в современных спекуляциях бихевиористов по поводу обучения человека эти трюизмы отрицаются. Данная тематика обсуждается в работах [*Chomsky* 1959; 1965, chap.I, §8; *Katz* 1966; *Fodor* 1965].
- ¹² [*Torrey* 1892, 284–287]. Полный перевод переписки Декарта с Мором в части, касающейся автоматизма животных, был выполнен Л. К. Розенфилд (Л. Коэн); см. [*Descartes* 1936].
- ¹³ Далее Декарт поясняет, что он не отрицает наличия у животных жизнедеятельности, ощущений и даже чувств в той мере, в какой они зависят от телесных органов.
- ¹⁴ Имеется в виду его «Физическое рассуждение о речи» (1666). Цитаты приводятся по второму изданию [*Cordemoy* 1677]. Имеется английский перевод, опубликованный в 1668 г. Как отмечает Розенфилд, Кордемуа с такой полнотой развил аргументацию Декарта по поводу отсутствия подлинной речи у животных, что после него «этому вопросу уделяли совсем мало внимания, поэтому возникает впечатление, что более поздние авторы рассматривали сочинение Кордемуа как последнее слово на эту тему» [*Rosenfield* 1941, 40].
- ¹⁵ Для Кордемуа (как и для Декарта) не возникает вопроса, есть ли душа у него самого; основываясь на самонаблюдении, он заявляет: «большинство движений моих органов всегда сопровожда-

- лось во мне определенными мыслями» [*Cordemoy* 1677, 3].
- ¹⁶ Ламетри. «Человек-машина» (1747). Критическое издание с примечаниями и сопутствующими материалами было опубликовано Э. Варганяном в 1960 г. Цитаты приводятся по английскому переводу 1912 г. [*La Mettrie* 1912], однако страницы указываются по изданию 1960 г., в котором дается французский текст с английским переводом.
- ¹⁷ Отец Ж. А. Бужан. «Философские забавы по поводу языка животных» (1739) [*Bougeant* 1739].
- ¹⁸ Сказанное не означает, что метод объяснения, предложенный Ламетри, в принципе не может быть верным. В данном случае меня интересует не адекватность объяснений Декарта и других философов, а их наблюдения над человеческим языком, которые побудили их предложить именно такие объяснения.
- ¹⁹ [*Ryle* 1949]. См. также [*Fodor* 1968]; в первой главе этой книги, озаглавленной «Возможна ли психология?», содержится критика взглядов Райла и других исследователей по поводу возможности психологического объяснения.
- ²⁰ Эти свойства описываются в терминах «сил», «склонностей» и «предрасположений», иллюстрируемых лишь отдельными примерами. Вместе они составляют еще один «миф», такой же таинственный и неверно понятый, как и «мыслящая субстанция» Декарта.

²¹ [Bloomfield 1933,275]. Когда говорящий производит речевые формы, которых он ранее не слышал, «мы говорим, что он произносит их *по аналогии* со сходными формами, которые уже встречал» [цит. по: Блумфилд 2002, 303-304]. По мнению Блумфилда, между человеческим языком и системами коммуникации животных нет коренных различий; первый отличается от вторых лишь «огромным разнообразием звуков» [Там же, 41], в то время как их функции схожи. «Человек произносит множество различных звуков и использует это разнообразие: под влиянием стимулов определенного рода он производит определенные голосовые движения, а его товарищи, слыша те же самые звуки, соответствующим образом на них реагируют» [Op. cit., 27; Там же, 41-42]. Он считает, что «язык — дело воспитания и навыка» [Op. cit., 34; Там же, 49]; произведя тщательные статистические подсчеты, «мы, несомненно, смогли бы определить заранее, сколько раз данное высказывание... будет сказано за определенное количество дней» [Op. cit., 37; Там же, 52] (этот вывод, разумеется, верен, ибо для почти всех нормальных высказываний предсказанное число будет равно нулю).

²² [Hockett 1958, § 36, 50]. Ср. следующее его замечание: «Утверждают, что всякий раз, когда человек говорит, он или подражает, или прибегает к аналогии». Хоккет согласен с этим мнением и полагает, что «когда мы слышим довольно длинное и сложное высказывание, мы можем быть достаточно уверены, что в действие вступила анало-

гия» [Op. cit., 425]. От других современных лингвистов Хоккет отличается тем, что хотя бы замечает существование проблемы.

При анализе инноваций Хоккет, по-видимому, исходит из того, что новые выражения могут быть поняты только в соотнесении с контекстом [Op. cit., 303]. В действительности для современного языкознания типично невнимание к языковым механизмам, определяющим значение несложных, но достаточно новых предложений, произносимых в ситуациях обыденного общения.

²⁴ В современных дискуссиях по поводу различий между человеческим языком и системами коммуникации животных иногда случайно воспроизводятся некоторые положения, выдвинутые картезианцами. См., например, [Carmichael 1964].

²⁴ И. Г. Гердер. «Трактат о происхождении языка» (1772). Частично перепечатан в [Heintel 1960]. При цитировании указываются страницы этого издания.

²⁵ То же самое верно относительно развития языка у индивида. В рассматриваемый нами период исследование «происхождения языка» по сути дела равнялось выяснению «сущности языка», и развитие языка индивида и языка нации часто считались параллельными в отношении их общих особенностей процессами. Ср. с тем, что пишет А. В. Шлегель в «Поэтике» (1801) об усвоении языка детьми: «У них повторяется в ослабленном виде то же самое, что происходило при обретении языка че-

Примечания

ловеческим родом в целом» [Schlegel 1963, 234]; в общем «для изучения языка требуется... та же способность, которая в еще большей степени проявляется при его изобретении» [Op. cit., 235]. Х. Штейнталь под влиянием идей Гумбольдта пошел еще дальше: «Различия между первоначальным творением и творением, ежедневно повторяющимся... в отношении языка вовсе не существуют» [Steinthal 1855, 116].

- ²⁶ Декарт не ограничивает язык чисто интеллектуальной функцией в узком смысле слова. См., например, «Первоначала философии», принцип СХСVII:

«Так, прежде всего мы видим, что слова, воспринятые на слух либо только написанные, вызывают в нашей душе представления обо всех тех вещах, которые они обозначают, и затем различные страсти. Если... выводить [пером] те или иные знаки, они вызывают в душе читателя представления о битвах, бурях, фуриях и возбуждают у него страсти негодования и печали; если же иным, но почти сходным образом водить пером... то небольшая разница в движении вызовет совершенно обратные представления — о тишине, мире, удовольствии — и возбудит страсти любви и радости»

[Decartes 1955, 294;
цит. по: Декарт 1989, 413;
ср.: Декарт 1950, 431].

- ²⁷ «Третий трактат: Диалог о счастье» (1741) [Harris 1801, I, 94].

²⁸ В ходе своих рассуждений Хэррис, по-видимому, выдвигает одно необоснованное предположение, типичное для современных вариантов этого учения: поскольку человеку присуще «бесконечное число направлений», он предстает как существо чрезвычайно пластичное, отсюда предположение, что врожденные факторы определяют его умственное развитие лишь в малой степени, если определяют вообще. Очевидным образом, это второе предположение не имеет никакого отношения к его замечанию по поводу свободы от контроля со стороны инстинкта и внутренних побуждений, а также по поводу безграничности потенциальных навыков и знаний. Сделав такое предположение, не связанное с другими положениями его учения, Хэррис, разумеется, полностью выходит за рамки картезианства.

В другом месте Хэррис высказывается по данному поводу так, что его слова можно истолковать в совсем ином смысле. Рассматривая взаимоотношения между творческим гением и правилами («Филологические разыскания» (1780) [*Harris* 1801, II]), он отвергает мнение, будто *«гении, хотя и предшествовали системам, также предшествовали и правилам* [например, единство времени и места в теории драмы], потому что ПРАВИЛА изначально существовали в их собственном уме и были частью неизменной и вечной истины» [*Op. cit.*, II, 409]. Гений и правила «столь взаимосвязаны, что именно ГЕНИЙ обнаруживает правила [имплицитно присутствующие в его уме], а ПРАВИЛА управляют гением».

²⁹ Какой-либо акт нельзя назвать «творческим» лишь по причине его новизны и независимости от подающихся точному определению внутренних побуждений или внешних стимулов. Поэтому термин «творческий аспект языкового употребления» без дальнейшего уточнения не совсем подходит для обозначения того свойства обыденного языка, на которое обратили внимание Декарт и Кордемуа.

В связи с этим интересно отметить, что Галилей, говоря об изобретении способа передачи «самых сокровенных мыслей любому другому человеку... не с большей трудностью, чем при расстановке в различном порядке двадцати четырех значков на бумаге»*, назвал его величайшим из всех человеческих изобретений; его можно сравнить с творениями Микеланджело, Рафаэля или Тициана [*Galileo* 1953,116-117]. Благодарю Э. Х. Гомбрича за то, что он обратил мое внимание на эту мысль Галилея.

Сравним сказанное с тем, что говорится по данному поводу в «Общей и рациональной грамматике»: «Благодаря этому чудесному изобретению человеческого разума мы можем из 25 или 30 звуков составить бесконечное множество слов, которые, не имея сами по себе ничего общего с тем, что происходит в нашем рассудке, позволяют открыть эту тайну другим. И не проникая в наше сознание, дух других людей благодаря способности к слову может постичь все наши помыслы и все разнообразные движения нашей души» [*Lancelot*,

* Цит. в пер. с англ. Галилей имеет в виду изобретение письма. См. [*Галилей* 1964, 203].

Arnauld 1660, 27; цит. по: *Арно, Лансло* 1990, 89-90; ср.: *Арно, Лансло* 1991, 29].

³⁰ См. прим. 25. [цит. по: *Schlegel* 1963, 233-234].

³¹ «Письма о поэзии, просодии и языке» (1795). [цит. по: *Schlegel* 1962, 152].

³² «Естественные средства искусства — это действия, посредством которых человек проявляет вовне свое внутреннее бытие» [*Schlegel* 1963, 230] (единственные средства такого рода — это «слова, тоны и жесты»); поэтому для Шлегеля естествен вывод о том, что сам язык есть наипервейшая форма искусства, более того, «с самого своего возникновения» он является «первичным материалом поэзии» [*Op. cit.*, 232].

³³ Для Шлегеля «искусство» — это «безграничная мысль» и как таковое оно не поддается определению: «его цель, то есть направление его устремлений, возможно наметить в общих чертах, однако то, что оно с течением времени должно и может осуществить, этого разум не способен вместить ни в одно понятие, поскольку оно бесконечно» [*Schlegel* 1963, 225]. И далее Шлегель продолжает:

«В поэзии это наблюдается в еще большей степени» ибо остальные искусства, в соответствии со своими ограниченными средствами и приемами изображения, обладают определенной сферой, которую можно в той или иной степени очертить. Однако поэзия использует то же средство, с помощью которого человеческий дух вообще осознает себя и полу-

чает возможность произвольным образом соединять и выражать свои представления; это средство — язык. Поэтому поэзия не привязана к имеющимся в наличии предметам, а сама творит свои собственные; она — самое всеобъемлющее из всех искусств и одновременно она есть универсальный дух, присутствующий во всех них. То в творениях других видов искусств, что возвышает нас над повседневной реальностью и уносит в мир фантазии, мы называем их поэтичностью; поэтому понимаемая в таком смысле поэзия означает художественный вымысел вообще, тот чудесный акт, посредством которого она обогащает природу; как говорит о том само ее имя*, поэзия — это истинное творчество и созидание. Каждому внешнему материальному изображению в душе художника предшествует внутреннее, при этом язык всегда выступает как посредник сознания, следовательно, можно сказать, что он постоянно выходит из лона поэзии. Язык вовсе не продукт природы, а отпечаток человеческого духа, который запечатлевает в нем возникновение и взаимосвязи своих представлений и весь механизм собственных действий. Таким образом, в поэзии уже созданное воссоздается вновь, и пластичность ее орудия столь же безгранична, что и способность духа к обращению на самого себя посредством все более высокой, более потенцированной рефлексии».

³⁴ Об особенностях, источниках и общей эволюции развития эстетических воззрений романтиков

* Ср. греч. $\tau\theta\omicron\iota\epsilon\iota\nu$ 'творить'.

см. [Abrams 1953]. Некоторые проблемы философии языка романтиков рассматриваются в первом томе «Философии символических форм» Э. Кассирера (1923); см. англ. пер.: [Cassierer 1953]. См. также [Fiesel 1927].

- ³⁵ В частности, в сочинении «О различии строения человеческих языков», опубликованном уже после его смерти, в 1836 г. Факсимильное издание вышло в свет в 1960 г. [Humboldt 1960]. Ссылки даются на это издание. Неполный перевод на английский язык можно найти в книге [Cowan 1963]. В настоящее время Дж. Виртель подготавливает полный перевод с комментариями. Предпосылки языковых теорий Гумбольдта рассматриваются в неопубликованной докторской диссертации, защищенной в Иллинойском университете [Brown 1964].

Блумфилд назвал трактат Гумбольдта «первой значительной книгой по общему языкознанию» [Bloomfield 1933, 18; цит. по: Блумфилд 2002, 32]. Если этот трактат рассматривать на фоне анализируемых нами идей, то его можно считать скорее конечным этапом развития картезианской лингвистики, чем началом новой эры языковедческой мысли. См. [Chomsky 1964], где рассматриваются некоторые проблемы общелингвистической теории Гумбольдта, ее связь с исследованиями, проводившимися в XX в., и новое обращение к ней в современных трудах по языкознанию и теории познания.

- ³⁶ Перевод греческих слов на немецкий язык принадлежит Гумбольдту. Эти понятия его теории не со-

Примечания

всем для меня ясны, и я сосредоточу здесь свое внимание на одном только их аспекте. Если исходить только из самого текста, то отнюдь не очевидна возможность одного-единственного последовательного и недвусмысленного толкования этих понятий. Несмотря на такую мою оценку, можно с уверенностью утверждать, что то, о чем я буду говорить далее, имеет отношение по крайней мере к одному из главных направлений гумбольдтовской мысли. Я благодарю Дж. Виртела за многочисленные замечания и советы по поводу истолкования текста Гумбольдта.

- ³⁷ Когда Гумбольдт называет слово языка «членораздельным», то он соотносит его с системой глубинных элементов, из которых оно построено; эти элементы могут быть использованы для образования бесчисленного множества иных слов в соответствии с определенными интуитивными знаниями и правилами. Именно в этом смысле слово является «членораздельным объектом», который постигается в восприятии благодаря действию «человеческого дара речи» (*menschliche Sprachkraft*), а не в результате некоего процесса, аналогичного простой «животной способности восприятия» (*das thierische Empfindungsvermögen*) [цит. по: Гумбольдт 2000, 78]:

«В силу *членораздельности* слово не просто вызывает в слушателе соответствующее значение [то есть значение воспринимаемого слова]... но непосредственно предстает перед слушателем в своей форме как часть бесконечного целого,

языка. В самом деле, членораздельность позволяет, следуя определяющим интуициям и правилам, формировать из элементов отдельных слов, по сути дела, неограниченное число других слов, устанавливая тем самым между всеми этими производными словами определенное родство, отвечающее родству понятий»

[Humboldt 1960, 71; Там же, 78].

Далее он поясняет свою мысль и уточняет, что разумом можно постичь одни только процессы порождения и что

«в языке следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно *порождающий* себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными»

[Там же, 78].

Ср. определение «членораздельности», данное А. В. Шлегелем:

«Артикулирование (т. е. членение речи) заключается в произвольных и намеренных движениях органов, и тем самым оно соответствует подобным же действиям духа»

[Schlegel 1963, 239].

Шлегель подчеркивает, что членораздельный язык отличен от криков животных или от выражений чувств: его нельзя считать рядом «грубых ими-

Примечания

- таций», ибо в его основе лежит иной принцип. См. также прим. 29.
- ³⁸ Ср.: «Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка» [Humboldt 1960, 58; Гумбольдт 2000]. Представляется, что гумбольдтовская «форма языка», если воспользоваться современной терминологией, по сути дела, есть не что иное, как «генеративная грамматика» языка в ее наиболее широком понимании. См. прим. 2 и с. 83.
- ³⁹ В пример можно привести *lingua franca* Средиземноморья, сюда же относятся системы коммуникации животных, а также «языковые игры» вроде тех, о которых Бужан, Блумфилд, Витгенштейн и многие другие говорили как о типичных и образцовых формах языка, как о его «изначальных формах».
- ⁴⁰ Выделяя конкретные состояния языка в качестве предмета описания, обладающего «психической реальностью», мы отходим от Гумбольдта, который по поводу соотношения синхронного и диахронного описания выражался чрезвычайно неясно.
- ⁴¹ Хэррис, пожалуй, ближе всего подходит к гумбольдтовской концепции «формы», когда цитирует в «Гермесе» Аммония* по поводу соотношения между движением и танцем, древесиной и дверью

* Аммоний Саккос (ок 175 - ок 242) — древнегреческий философ-неоплатоник, учитель Плотина

и между «способностью производить звуки голоса» (как материальной основой языка) и «способностью изъясняться посредством имен и глаголов» (как формой языка, которая проистекает из уникальных способностей человеческой души подобно тому, как материальная основа задается природой). См. [Harris 1801,1, 393, п.].

Однако в другом сочинении Хэррис предлагает гораздо более содержательное понятие «формы». В своих «Философских классификациях» (1775) он развивает понятие «формы» как «воодушевляющего принципа»: «воодушевляющая форма природного тела не есть ни его организация, ни его облик, ни какая-либо иная из этих низших форм, которые образуют систему его видимых качеств; это такая сила, которая, не будучи ни такой организацией, ни таким обликом, ни такими видимыми качествами, тем не менее способна создавать, сохранять и использовать их» [Op. cit., II, 59].

⁴² «Лекции о драматическом искусстве и литературе» (1808) в английском переводе Джона Блэка [Schlegel 1892, 340].

⁴³ «Лекции и заметки 1818 г.» [Coleridge 1893, 229]. Некоторые из размышлений Колриджа о природе человеческого разума, в частности когда он подчеркивает разнообразие творческого потенциала, используемого в пределах конечного числа правил, предвосхищают высказывания Гумбольдта о языке. В той же лекции он отрицает, что гений следует противопоставлять правилам (здесь он снова парфразирует Шлегеля; ср. также прим. 28) и доказы-

вает, что «никакое произведение истинного гения не осмеливается желать собственной [органической] формы». «Поскольку оно не должно этого делать, то гений не может обойтись без законов, ибо именно это и составляет суть его гениальности — способность действовать творчески, соблюдая законы своего собственного порождения».

В другом месте он утверждает, что «разум не похож на эолову арфу или даже на органчик, приводимый в действие струей воды, независимо от того, сколько мелодий он может механически воспроизвести; если уж сравнивать его с предметами, то он скорее напоминает скрипку или другой инструмент с малым числом струн, но с широким диапазоном, на котором играет гениальный музыкант». (Цит. в [Wellek 1931, 82]; много дополнительных сведений по этому вопросу можно найти в [Abrams 1953]).

⁴⁴ Следует заметить, что эта тема, по-видимому, не затрагивалась в явном виде в переписке Шлегеля с Гумбольдтом; см. [Leitzmann 1908]. В этой переписке можно найти множество высказываний по поводу «органической» и «механической» формы, но в другой связи, а именно в связи с соотношением между флексией и агглютинацией как типами языковых процессов; этот вопрос подробно обсуждается также в трактате Гумбольдта «О различии строения человеческих языков».

В рассматриваемый период вопрос о том, каким образом форма языка возникает в индивидуальных «творческих» актах и в свою очередь опре-

деляет их, обсуждается довольно часто. См., например, высказывание Колриджа: «Какую великолепную историю актов, совершаемых индивидуальными разумами и санкционированных коллективным разумом страны, представляет собой язык... хаос, который сдавливает себя тисками совместимости». Цит. по [Snyder 1929, 138].

- ⁴⁵ Возникновение и значимость этого понятия описаны в [Berthelot 1932], а также в [Magnus 1906]; вторая книга имеется в английском переводе [Magnus 1949]. Как хорошо известно, в рассматриваемый нами период понятие органической формы получило развитие в биологии, а также в философии и литературной критике. Например, шлегелевское понятие органической формы можно сравнить с понятием «формативного стремления» (Bildungstrieb), которое развивал в биологии И. Ф. Блуменбах*; это понятие жизненного, порождающего, формирующего принципа, который внутренне присущ организму, лежит в основе его онтогенеза и определяет его развитие от зародыша до взрослого организма (см. [Berthelot 1932,42]; автор полагает, что сходные формулировки Канта в его «Критике способности суждения» навеяны этим понятием). По мнению Вертело, в натурфилософии Шеллинга природа предстает «как качественная динамическая трансформация, обусловленная развертыванием внут-

* Блуменбах Иоганн Фридрих (Blumenbach J. F., 1752-1840) — немецкий естествоиспытатель, один из основателей современной антропологии.

Примечания

ренной, спонтанной и изначально неосознаваемой деятельности, в результате чего возникают новые формы, не сводимые к предшествующим» [*Op. cit.*, 40]. Для иллюстрации параллелей и взаимовлияний мы могли бы привести много других цитат. Эта тематика обсуждается в ряде работ, например, в [*Lovejoy 1936; Abrams 1952*]. Дополнительные сведения и обширную библиографию можно найти в [*Mendelsohn 1964*].

⁴⁶ Цит. в [*Magnus 1949, 59*]. Лавджой [*Lovejoy 1936*] прослеживает истоки логического понятия «праобраза» (Urbild) в сочинении Ж. Б. Робине* «О природе» [*Robinet 1761-1768*]. Он цитирует определение, данное Робине понятию прототипа: «прототип — это принцип разума, который изменяется, лишь реализуясь в материи» [*Lovejoy 1936, 279*]. Робине разработал данное понятие применительно ко всей живой и даже неживой природе.

⁴⁷ Название основного труда Гумбольдта не должно давать повода думать, будто он разделял мнение о том, что каждый язык — уникальный продукт истории и в принципе может обладать любой структурой, которую только возможно себе представить. Подобный взгляд в той или иной форме высказывали многие лингвисты после Гумбольдта. В качестве примера можно привести мнения двух лингвистов, принадлежащих разным эпохам. Так, У. Д. Уитни

* Робине Жан Батист Рене (Robinet J. B. R., 1735-1820) - французский философ-материалист, близкий к философии XVII в.

в свое время подверг критическому анализу теоретические изыскания Гумбольдта в работе «Штейнталь и психологическая теория языка», опубликованной в 1872 г. в журнале «North American Review» и перепечатанной в [Whitney 1874]. В ней он делает следующий вывод: «одно только бесконечное разнообразие человеческой речи не позволяет утверждать, что для понимания способностей души необходимо объяснить природу речи» [Op. cit., 360]. Он также считает, что язык — исключительно «продукт истории», не что иное, как «сумма слов и фраз, посредством которых любой человек может выразить свою мысль» [Op. cit., 372]. В наше время М. Джус, подводя итоги того, что он назвал «босовской» традицией американской лингвистики, выразил мнение, что «языки могут отличаться друг от друга бесконечным и непредсказуемым образом» [005 1957, 96]. Напротив, Гумбольдт неоднократно высказывал мнение, что общие структурные особенности языков позволяют считать их отлитыми в одной и той же форме. Как мне кажется, он последовательно придерживается той же позиции и в письме к А. В. Шлегелю (1822), когда пишет: «Невозможно отрицать, что все языки выглядят весьма сходно в отношении грамматики, если только исследовать их не поверхностно, а во всей их глубинной сути» [Leitzmann 1908, 54]. Более того, совершенно очевидно, что только такой взгляд на языки совместим с платоновской по духу теорией Гумбольдта овладения языком (см. ниже, с. 130).

См. также [Chomsky 1964], где рассматривается значимость критического анализа Уитни для

Примечания

истории лингвистики; его критика оказала большое влияние, но, по моему мнению, она была совершенно неверной и поверхностной.

⁴⁸ На это указывает и Х. Штейнталь [*Steinthal* 1867].

⁴⁹ [*Rocker* 1937]. Это суждение в значительной степени основано на более раннем очерке Гумбольдта «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства» (1792). Его частичный перевод дается в [*Cowan* 1963, 37-64].

⁵⁰ Определение политической значимости учения Гумбольдта о «естественных правах» должно в значительной мере опираться на анализ формы изложения и соответствующего социального контекста; выяснение этих вопросов в данном случае наталкивается на многочисленные проблемы. Термины, в которых Гумбольдт излагает свое учение, заставляют обратиться для сравнения к «Экономическо-философским рукописям 1844 г.» К. Маркса (англ. пер. Т. Б. Боттомора см. в [*Marx* 1961]). В них речь идет об «отчуждении труда», которое заключается в том, что «труд является для рабочего чем-то *внешним*, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает... изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные силы» [*Op. cit.*, 98; цит. по: *Маркс* 1974, 90]. Маркс также указывает на такие признаки «родового характера» человеческих существ, как «свободная сознательная деятельность» и «производственная жизнь» [*Op. cit.*, 101; *Там же*, 93]. Этой жизни человека

лишает отчужденный труд, который «отбрасывает часть рабочих назад к варварскому труду, а другую часть рабочих превращает в машину» [*Op. cit.*, 97; *Там же*, 90]. Столь хорошо известно высказывание Маркса в «Критике готской программы» о более развитой форме общества, в котором «труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни» [*Marx* 1875; цит. по: *Маркс* 1961, 20].

Высказывания Гумбольдта можно сравнить и с критикой Руссо социальных институтов современного ему общества в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755); англ. пер. см. в [*Rousseau* 1964]. Цель Руссо «показать происхождение и развитие неравенства, установление политических обществ и то дурное применение, которое они нашли, насколько все это может быть выведено из природы человека, с помощью одного лишь светоча разума и независимо от священных догматов, дающих верховной власти санкцию божественного права» [*Op. cit.*, 180; цит. по: *Руссо* 1969, 97]. Строго в соответствии с картезианской доктриной он следующим образом характеризует животное: «Во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину, которую природа наделила чувствами, чтобы она могла сама себя заводить и ограждать себя, до некоторой степени, от всего, что могло бы ее уничтожить или привести в расстройство». «У всякого животного есть свои представления, потому что у него есть чувства; оно даже до некоторой степени комбинирует свои

Примечания

представления, и человек отличается в этом отношении от животного лишь как большее от меньшего» [*Там же*, 54] (ср. прим. 13). В абсолютном смысле человек отличается от животного тем, что он «свободно действующее лицо» и ему присуще «осознание этой свободы» (другое специфическое отличие человека, по-видимому, можно объяснить все той же его свободой; речь идет о «способностях к самосовершенствованию», которой наделен как каждый индивид, так и вид в целом). Хотя многое в природе человека можно объяснить свойствами «человеческой машины», тем не менее человеческое поведение уникально и выходит за рамки чисто физического объяснения. «Ибо физика некоторым образом объясняет нам механизм чувств и образование понятий, но в способности желать, или точнее — выбирать и в ощущении этой способности можно видеть лишь акты чисто духовные, которые ни в коей мере нельзя объяснить, исходя из законов механики» [*Op. cit.*, 113 f.; *Там же*, 54].

Исходя из этой по существу картезианской картины человеческой природы, Руссо развивает свою теорию современного общества и дает ему оценку. Поскольку свобода — «благороднейшая из способностей человека», то «не унижает ли он свое естество, не низводит ли он себя до уровня животных — рабов инстинкта — и не оскорбляет ли он своего создателя, если отказывается безоговорочно от этого драгоценнейшего из всех его даров», дабы «угодить свирепому или безумному господину» [*Op. cit.*, 167; *Там же*, 88]. Национальное государство, современная организация общества и но-

сящее условный характер право, вместе взятые, оказываются своего рода заговором, который имущие и наделенные властью люди организуют для сохранения и возведения в институт своей власти и собственности; общество и законы «наложили новые путы на слабого и придали новые силы богатому, безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности и неравенства, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких честолюбцев обрекли с тех пор весь человеческий род на труд, рабство и нищету» [*Там же*, 84]. Наконец, вместе с установлением национального государства «самые почтенные мужи научились считать одной из своих обязанностей — уничтожать себе подобных; в конце концов, люди стали убивать друг друга тысячами, сами не ведая из-за чего» [*Op. cit.*, 160-161; *Там же*, 85]. Поскольку общество возводит в институт право собственности, судебную власть и произвол власти, оно нарушает естественный закон [*Op. cit.*, 168 f.]. Противно естественному праву и законам природы, если «горстка людей утопает в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого» [*Op. cit.*, 181; *Там же*, 98; цит. с незначит. изм.] или если «каждый видит свою выгоду в несчастье другого» [*Op. cit.*, 194; *Там же*, 100], а «юрисконсульты... с важностью провозгласили, что дитя рабыни рождается рабом, постановили, иными словами, что человек не рождается человеком» [*Op. cit.*, 168; *Там же*, 89-90]. Человек превратился всего лишь в «общительного человека», живущего «вне само-

го себя»; он существует «только во мнении других», из чьих суждений он единственно и «получает ощущение собственного своего существования» [Op. cit., 179; Там же, 97]. Истинную человечность он может вернуть себе, лишь уничтожив различия между богатыми и бедными, сильными и слабыми, хозяевами и рабами путем совершения «новых переворотов», пока они «не уничтожат Власть совершенно или же не приблизят ее к законному становлению» [Op. cit., 172; Там же, 92]. «Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных» [Op. cit., ill; Там же, 96].

⁵¹ Данное понятие, по-видимому, возникло в связи с контроверзой по поводу возможного использования родного языка в тех функциях, в которых до этого использовалась латынь. См. [Brunot 1924, 1104 f.; Sahlin 1928, 88–89], где даются ссылки на труды более раннего времени. Так, в одной книге, опубликованной в 1669 г., стремление обосновать естественность французского языка заходит столь далеко, что автор заявляет: «римляне думали по-французски, прежде чем говорить по-латыни». Дидро был столь убежден в «естественности» французского языка, что считал его более пригодным для науки, чем для литературы; другие же европейские языки, придерживающиеся «неестественного» порядка слов, якобы более пригодны для литературных целей [Diderot 1751]. У англичан

был несколько иной взгляд на вещи. Например, Бентам* считал, что «из всех известных языков английский... это тот язык, в котором в высшей степени присутствуют во всей своей совокупности наиболее важные свойства, желательные в любом языке» [Bentham 1962, 342]. Уарте, писавший свои труды в конце XVI в., считал само собой разумеющимся «соответствие которое существует между латинским языком и разумной душой»: «латинские слова и способ их произношения обладают столь разумным характером, они звучат столь гармонично, что когда разумная душа объединяется с темпераментом, необходимым для изобретения особенно изящного языка, она тотчас же наталкивается на него [латинский язык]» [Huarte 1698,122; цит. по: Уарте 1960, 107 с небольш. изм.].

Начиная с XVII в. живо обсуждалась возможность изобретения «философского языка», который отражал бы «истинную философию» (la vraie philosophie) и принципы мышления лучше, чем любой реальный человеческий язык. Интерес к этой проблеме, очевидным образом, объясняет и интерес Лейбница к сравнительной грамматике, которая может помочь обнаружить «выдающиеся качества языка». Обсуждение этой проблемы см. в [Couturat, Lean 1903; McIntosh 1956; Cassirer 1953].

⁵² Б. Лами, «Об искусстве речи» (1676). Существуют, однако, соображения стиля, по которым во многих

* Бентам Иеремия (Bentham J., 1748-1832) — английский философ-юрист, основоположник философии утилитаризма.

Примечания

языках «естественный порядок» может быть заменен на обратный, но такого не бывает во французском языке. В нем, по мнению Лами, не имеют хождения подобные «фигуры грамматики», поскольку французский язык «любит чистоту и наивность; вот почему он старается выразить вещи в наиболее естественном и наиболее простом порядке» [*Lamy* 1676, 23]. См. также с. 63–64.

⁵³ Тем не менее допущение существования «естественного порядка» имеет то преимущество, что оно не расходится с фактами столь очевидным образом, как вера в то, что язык можно описать в терминах «навыков» или «предрасположений к ответу» или что синтаксическая структура языка представляет собой нечто вроде списка моделей. Поэтому не исключено, что понятие «естественного порядка» может получить дальнейшее развитие и уточнение в качестве гипотезы, позволяющей в какой-то мере объяснить особенности языковой структуры.

⁵⁴ Лейбниц, «Новые опыты о человеческом разуме», книга III, глава VII; цит. по англ. пер.: [*Leibniz* 1949]. Далее он высказывает мнение, что «путем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума» [*Op. cit.*, 1949, 368; цит. по: *Лейбниц* 1983, 338]. О взглядах Лейбница на язык см. также [*Aarslef* 1964].

⁵⁵ Ф. Шлегель, «История древней и новой литературы» (1812); цит. в [*Fiesel* 1927, 8]. См. также работу

А. В. Шлегеля «Общие соображения об этимологии»: «Часто утверждают, что грамматика — это логика в действии; более того, это глубинный анализ, тончайшая метафизика мысли» [*Schlegel* 1846,133].

⁵⁶ Иногда эта поддержка приходила с совсем неожиданной стороны. Например, в прошении Прудона, поданном в 1837 г. в Безансонскую академию для получения стипендии, говорится о его намерении развивать теорию общей грамматики; он надеялся «найти новые области для психологии, новые пути для философии; исследовать природу и механизм человеческого разума через одно из наиболее очевидных и наиболее легко наблюдаемых его свойств — через речь; исследовав происхождение языка и языковые способы выражения, определить источник и филиацию человеческих верований; одним словом, применить грамматику к метафизике и к морали и тем самым реализовать замысел, не дающий покоя глубоким умам...» [*Proudhon* 1875, 31].

Ср. также определение грамматики Дж. С. Милля: «Это начало анализа мыслительного процесса. Принципы и правила грамматики служат средством, при помощи которого формы языка приводятся в соответствие с универсальными формами мышления. Различия между разными частями речи, между падежами существительных, наклонениями и временами глаголов, функциями причастий являются различиями в мышлении, а не только в словах... Структура каждого предложения — это урок логики» [*Mill*

Примечания

1867] (цит. Есперсеном в его «Философии грамматики» [*Jespersen* 1924, 47; цит. по: *Есперсен* 2002, 49] с ноткой неодобрения, характерного для современных лингвистов).

Положение о том, что язык (в своей глубинной структуре) есть отражение мышления, получило развитие, хотя и в значительно ином направлении, в трудах Фреге, Рассела и раннего Витгенштейна. Этот факт хорошо известен, и я не буду на нем останавливаться.

⁵⁷ Н. Бозе, «Общая грамматика, или Рациональное изложение необходимых элементов языка» (1767). Цитаты здесь и далее приводятся по пересмотренному и исправленному изданию 1819 г. [*Beauzée* 1819].

⁵⁸ Разумеется, при этом остается открытым вопрос, как возможно творческое мышление; обсуждение этой темы в прошлом дало столь же незначительные результаты, что и современные рассуждения на эту тему, иными словами, суть дела осталась полной тайной. Так, Кордемуа объяснял «новые мысли, приходящие нам в голову, когда мы не в состоянии обнаружить их причину в нас самих или отнести их на счет человеческого общения», не чем иным, как «вдохновением», т. е. общением с бестелесными духами [*Cordemois* 1677, 185-186]. Многие из его современников согласились бы с тем, что в той или иной мере «человек обнаруживает некоторую аналогию с атрибутами Бога в своих умственных способностях» (трактат «Об истине» Херберта

Черберийского, 1624; цит. здесь и далее приводятся по англ. пер. М. Х. Карре [*Herbert of Cherbury* 1937, 167]. Обращение к сверхъестественному следует рассматривать на фоне оживления неоплатонизма в эстетических теориях начиная с XVI в. и в течение всего периода романтизма, когда творческие способности человека истолковывались как аналог божественной «эманации». См. об этом [*Lovejoy* 1936; *Abrams* 1953]; там же приводятся ссылки на другие работы.

⁵⁹ Вспомним, что для Ламетри душа не есть некая отдельная субстанция; «если все способности души настолько зависят от особой организации мозга и всего тела, что в сущности они представляют собой не что иное, как результат этой организации, то человека можно считать весьма просвещенной машиной»; «итак, душа — это лишенный содержания термин, за которым не кроется никакой идеи и которым здравый смысл может воспользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит» [*La Mettrie* 1912, 128; цит. по: *Ламетри* 1983, 208–209]. Учитывая способность мозга к «воображению», он прямо допускает, что «природа [этой способности]... нам столь же неизвестна, как и способ ее проявления», а ее продукты представляют собой «удивительные и непостижимые следствия устройства мозга» [*Op. cit.*, 107; *Там же*, 193, 194]. Авторы более позднего времени испытывали намного меньше сомнений по этому поводу и описывали мозг как

орган, выделяющий мысль, подобно тому как печень выделяет желчь (Кабанис*) и т. п.

- ⁶⁰ Характерным для картезианцев является предположение о том, что мыслительные процессы одинаковы у всех нормальных людей, поэтому языки могут различаться в способах выражения, но не в выражаемых мыслях. Так, Кордемуа, обсуждая проблему овладения языком [*Cordemoу 1677, 40 f.*] (см. ниже, с. 129), описывает процесс усвоения второго языка как всего лишь соотнесение новых языковых выражений с идеями, которые уже связаны с выражениями первого языка. Отсюда следует, что не может быть никаких принципиальных трудностей при переводе с одного языка на другой. Подобного рода заявление, несомненно, вызвало бы сильную отрицательную реакцию у романтиков, ведь для них язык не просто «зеркало разума», а неотъемлемая часть мыслительных процессов и отражение культурной самобытности (ср. у Гердера: «*Философское сравнение языков* было бы самым превосходным опытом истории и многогранной характеристики человеческого рассудка и души, ибо в каждом языке отпечатлелся рассудок и характер народа». («Идеи к философии истории человечества» (1784-1785); [цит. по: *Herder 1960,176*; цит. по: *Гердер 1977,239*]).
- ⁶¹ Мы вскоре вернемся к некоторым конкретным положениям «Грамматики».

* *Кабанис Пьер Жан Жорж* (Cabanis P. G.J., 1757-1808) - французский врач и философ, один из основателей учения об «идеологии».

- ⁶² Страницы указаны по изданию [*Harris* 1801, П]. (Ср. прим. 27).
- ⁶³ Из этого следует, что вопросительное и утвердительное предложение (в форме которого дается ответ) тесно связаны между собой. «В самом деле, это родство столь тесное, что только в этих двух наклонениях глагол имеет одну и ту же форму; они различаются лишь добавлением или отсутствием той или иной мелкой частицы или каким-нибудь небольшим изменением в порядке слов, а иногда только изменением тона или ударения» [*Harris* 1801, I, 299]. Так, в случае «простого вопросительного предложения» (т. е. в случае обычного вопроса, требующего ответа «да» или «нет») ответ, если исключить возможность эллипсиса, формулируется почти теми же словами, что и вопрос, однако «на неопределенные вопросительные предложения можно ответить бесконечным числом утвердительных и отрицательных предложений. Например: *Чьи это стихи?* Мы можем ответить утвердительно: *Это стихи Вергилия, Это стихи Горация, Это стихи Овидия* и т. д. или отрицательно: *Это стихи не Вергилия, Это стихи не Горация, Это стихи не Овидия* и так до бесконечности тем или иным способом» [*Op. cit.*, 300, прим.].
- ⁶⁴ Теория языка Пор-Рояля с ее различием глубинной и поверхностной структуры имеет не только картезианские корни; в схоластических грамматиках и грамматиках периода Возрождения также можно найти сходные построения. В частности, мы имеем в виду теорию эллипсиса и «идеаль-

Примечания

- ных типов», достигшую наиболее полного развития в «Минерве» Санкциуса (1587). См. об этом в [Sahlin 1928, chap. 1; p. 89 f.].
- ⁶⁵ Об этой трансформации ничего не говорится, но она имплицитно содержится в приведенных примерах.
- ⁶⁶ А. Арно. «Логика, или искусство мыслить» (1662). Ссылки на страницы даются по англ. пер.: [Arnauld 1964]. О недавней дискуссии по поводу современной оценки лингвистической значимости этого труда см. [Brekke 1964].
- ⁶⁷ Понятие «идеи» занимает центральное место в картезианской лингвистике, но представляет известные трудности. Картезианцы пользовались разными терминами (например, *idée* «идея», *notion* «понятие»), причем явно без систематического разграничения их значений, а само понятие так и не было определено однозначным образом. В своих «Размышлениях III» Декарт соотносит термин «идея» с термином «образ» и заявляет, что «некоторые из моих мыслей являются, так сказать, образами вещей, и только их уместно обозначать словом „идея“ [лат. *idea*]» [Descartes 1955, I, 59] (разумеется, эти «образы» могут возникать в воображении или в процессе размышления, а не проистекать из чувственных данных). Отвечая на «Возражения» Гоббса по поводу приведенного пассажа, Декарт уточняет свою мысль (похоже, что он изменяет свою формулировку на ходу): «под словом „идея“ я понимаю все, что непосредственно воспринима-

ется разумом; вследствие этого, когда я чего-то желаю или боюсь, поскольку я одновременно осознаю это желание и опасение, я отношу их к числу своих идей» [*Op. cit.*, II, 67-68]. Использование слова «идея» во втором смысле как обозначение предмета мысли, по-видимому, является наиболее обычным у Декарта. Так, в «Рассуждении о методе» он говорит о неких законах, «которые Бог... установил в природе и понятия [франц. notions]* о которых... вложил в наши души» [*Op. cit.*, I, 106; цит. по: Декарт 1989, 274]. Подобным же образом, в «Первоначалах философии» не проводится существенного различия между «идеями [лат. ideas] чисел и фигур» и другими «общими понятиями [лат. notiones communes] ума»; примером последних является «понятие о том, что *если к равным величинам прибавить равные, образовавшиеся таким образом величины будут также равны между собой*» (часть I, принцип XIII) [*Op. cit.*, 224; цит. по: Декарт 1989, 319; ср.: Декарт 1950, 431]. Последнее значение термина «идея», когда он обозначает нечто, могущее быть «помысленным» (а не просто «воображаемым»), перекочевало и в «Логикку» Пор-Рояля. В таком смысле идеями оказываются разного рода понятия и даже целые предложения. Подобное использование термина «идея» было широко распространено. Лами, не претендуя на оригинальность, определяет идеи как «объекты нашего восприятия» и заявляет, что «кроме этих идей, возбуждаемых тем, что воздействует на наше тело,

* В англ. пер. использовано слово ideas.

в глубине нашего естества обнаруживаются и другие идеи, которые не проникают в наш разум через органы чувств; таковы идеи, являющие нам первейшие истины, например, следующие: необходимо возвращать каждому то, что ему принадлежит; вещь не может существовать и не существовать одновременно и т.п.» [*Lamy* 1676, 7]. То, как анализируются в «Грамматике» и «Логике» Пор-Рояля простые и сложные предложения, свидетельствует именно о таком понимании «идеи»: предложения описываются как результат комбинации идей, а сложные идеи описываются так, будто в их основе лежат некие составляющие — глубинные предложения. В этом смысле «идея» — это теоретический термин, используемый в теории мыслительных процессов; содержание (т. е. интенционал, или значение) идеи является фундаментальным понятием в аспекте семантической интерпретации, а если глубинную структуру языка рассматривать как прямое отражение мыслительных процессов, то его следует считать фундаментальным понятием и в аспекте анализа мышления.

Подробнее об этом см. в [*Veitsch* 1880, 276-285, note II].

⁶⁸ Во французском оригинале приведенное предложение имеет следующий вид: *La doctrine qui met le souverain bien dans la volupté du corps, laquelle a été enseignée par Epicure, est indigne d'un philosophe.* В переводе Диккофа и Джеймса, которому я слеую во всех иных случаях, оно выглядит так: *The doctrine which identifies the sovereign good with the sensual*

pleasure of the body and which was taught by Epicurus is unworthy of a philosopher. Однако в этом переводе экспликативное относительное придаточное *which was taught by Epicurus* естественным образом воспринимается как детерминативное придаточное, присоединенное союзом к первому детерминативному придаточному *which identifies...*, так что суть французского примера оказывается утраченной.

⁶⁹ Отметим попутно, что конструкции поверхностной структуры «прилагательное 4- существительное» могут быть выведены, посредством грамматических трансформаций того типа, которые предлагаются в «Грамматике» Пор-Рояля, из обоих типов относительных придаточных. Это следует из приводимых в «Грамматике» примеров; еще более яркими являются такие двусмысленные примеры, как приведенное Есперсеном предложение *The industrious Japanese will conquer in the long run* Трудлюбивые японцы в конце концов победят' [*Jespersen 1924, 112; цит. по: Есперсен 2002, 127*].

⁷⁰ Заметьте, что в подобных случаях нельзя утверждать, будто каждый из элементарных абстрактных элементов, составляющих глубинную структуру, сам лежит в основе возможного предложения; например, *je vous dis* 'я вам говорю' само по себе не является предложением. В современных терминах это утверждение звучит так: неверно, будто каждый элемент, порождаемый глубинными базовыми правилами (правилами фразовой структуры), лежит в основе возможного ядерного предложения. Подобным же образом во всех ис-

Примечания

следованиях по трансформационной порождающей грамматике последних десяти и более лет считается само собой разумеющимся, что в соответствии с правилами фразовой структуры могут вводиться «пустые символы», которые получают некое представление в виде морфемных цепочек только после применения тех или иных правил вложения (как, например, в английских конструкциях «глагол + дополнение»); элементарные цепочки, в которых появляются пустые символы, не лежат в основе ядерных предложений. Различные мысли, которые были высказаны по этому поводу в указанный период, подытоживаются и обсуждаются в [Chomsky 1965, chap. III].

- ⁷¹ Бозе анализирует эти структуры совсем иначе [Beauzée 1819]. Он считает, что они основаны на относительных придаточных, антецедент которых в результате трансформации опускается. Так, предложения франц. *L'état présent des Juifs prouve que notre religion est divine* 'Современное положение евреев доказывает, что наша религия от Бога' и нем. *Ich glaube dass ich liebe*, англ. *I think (that) I love* 'Я думаю, что люблю' являются производными, соответственно, от предложений *L'état présent des Juifs prouve une vérité qui est, notre religion est divine* букв. 'Современное положение евреев доказывает истину, которая есть: наша религия от Бога' и *Ich glaube ein Ding dass ist, ich liebe; I think a thing that is, I love* букв. 'Я думаю одну вещь, которая есть: я люблю' [Op. cit., 405].

- ⁷² Подробнее см. [Chomsky 1965]. Следует отметить, что теория трансформационной порождающей грамматики во многих отношениях оказалась близкой к точке зрения, имплицитно содержащейся в теории авторов «Грамматики» Пор-Рояля после того, как в течение ряда лет эта теория послужила объектом довольно интенсивных исследований, в результате которых были получены новые данные и сформулированы новые подходы.
- ⁷³ Более ранние взгляды рассмотрены в [Sahlin 1928, 97 f.]. В последующем многие исследователи неоднократно высказывали мысль (независимо от того, действительно ли они в нее верили), что предложение можно рассматривать просто как последовательность слов или словесных категорий, не подлежащих дальнейшему структурированию.
- ⁷⁴ Следует отметить, что эта функция глагола характеризуется как основная, но не единственная. «Он используется и для обозначения других движений нашей души, как то: *желать, просить, приказывать* и др.» [Lancelot, Arnauld 1660, 90; цит. по: Арно, Лансло 1990, 148; ср.: Арно, Лансло 1991, 65]. Эта тема вновь поднимается в главе XV, где кратко рассматриваются грамматические средства, с помощью которых в разных языках выражаются указанные ментальные состояния и процессы. См. выше, с. 87.
- ⁷⁵ Также в «Грамматике» говорится об ошибочности мнения грамматистов прошлого, согласно которому глаголы обязательно выражают действия, претерпевания или что-либо происходящее; в качестве

Примечания

контрпримеров приводятся такие глаголы, как *existit* 'возникает', *quiescit* 'покоится', *friget* 'остывает', *alget* 'зябнет', *tepet* 'является теплым', *calet* 'является горячим', *albet* 'белеет', *viret* 'зеленеет', *claret* 'сияет' [*Lancelot, Arnauld* 1660, 94; см.: *Арно, Лансло* 1990, 152; *Арно, Лансло* 1991, 66-67].

⁷⁶ Выше говорится о том, что «часто оказывается необходимым преобразовать такое предложение из активного залога в пассивный, чтобы представить аргументы в их наиболее естественной форме и в явном виде выразить то, что следует доказать» [*Arnauld* 1964, 117; ср.: *Арно, Николь* 1991, 120].

⁷⁷ Вряд ли верно поступают те, кто считают эту идею «основным фундаментальным открытием» британской философии XX в. (см. [*Flew* 1952, 7], а также [*Wittgenstein* 1922, 4.0031], где эта мысль приписывается Расселу). Не столь новым, как это представляется в [*Flew* 1952, 8], является и предположение о том, что «грамматические сходства и расхождения с логической точки зрения могут вводить в заблуждение», Ср. ниже, с. 103-104.

Картезианская лингвистика исходит из общего предположения о том, что поверхностная организация предложения не всегда дает верное и полное представление об отношениях между его элементами, важных для определения его семантического содержания. Выше мы говорили о том, что была сформулирована в общем виде грамматическая теория, согласно которой реальные предложения выводятся из лежащих в их основе «глу-

бинных структур», где эти отношения получают свое грамматическое представление. Остается открытым и подлежащим дальнейшему всестороннему исследованию вопрос о том, в какой степени «логическая форма» действительно репрезентируется определяемой синтаксически глубинной структурой, если последний термин понимать в современном техническом смысле или в том близком смысле, в каком он понимался в картезианской лингвистике. Подробнее см. в [Katz 1966].

⁷⁸ Такой порядок слов обычно именуется «естественным порядком». См. выше, с. 64-65.

⁷⁹ Многие из опубликованных и неопубликованных лингвистических трудов Дю Марсэ были изданы посмертно [Du Marsais 1769]. Ссылки даются на страницы этого издания. Ряд других исследователей также отмечали связь между свободой порядка слов и флексией, например Адам Смит [Smith 1761].

⁸⁰ Когда Л. Блумфилд (как и многие другие) критикует предшественников современной лингвистики за то, что они стирали структурные различия между языками, «пытаясь втиснуть описание этих языков в рамки латинской грамматики» [Bloomfield 1933,8; цит. по: Блумфилд 2002,22], он, по-видимому, имеет в виду описанный выше подход, несостоятельность которого он считает доказанной. Если это так, то следует отметить, что в своей книге он не приводит никаких доказательств того, что философская грамматика была каким-то образом привязана к латинской модели; нет в книге Блумфилда и указания

Примечания

на то, что современная гипотеза о единообразии глубинных грамматических отношений возникла именно в исследованиях нашего времени.

В целом следует признать недостоверность данного Блумфилдом описания лингвистических теорий периода, предшествовавшего современному. Его исторический обзор — это несколько случайных заметок, которые, по его мнению, призваны суммировать «уровень знаний о языке, достигнутый к XVIII в.». Эти замечания не всегда верны (например, поразительно его утверждение, что до XIX в. лингвисты «не изучали звуков речи и смешивали их с графическими знаками алфавита» [Там же, 22] или что авторы универсальных грамматик смотрели на латынь как на высшее воплощение «универсальных законов логики») [Там же, 20], а если они и верны, то не дают полного представления о том, что было сделано в предшествующий период.

Вопрос о том, как в указанный период анализировались звуки речи, заслуживает отдельного обсуждения; хотя я исключил эту тему из своего обзора, следует признать необоснованность такого решения. В большинстве рассматриваемых мною сочинений, как и во многих других трудах, обсуждаются вопросы фонетики, причем положение Аристотеля «произносимые слова являются символами переживаемого в уме, а написанные слова являются символами произнесенных слов» (*Aristoteles. De Interpretationibus*)*, по-видимому, принималось

* Цит. в пер. с англ.; ср. рус. пер. в: [Аристотель 1978, 93].

безоговорочно. В современных работах редко можно найти ссылки на фонетические исследования рассматриваемого периода. Так, М. Граммон следующим образом комментирует фонетические взгляды Кордемуа [*Cordemois* 1677]: «артикуляции некоторых фонем французского языка описаны с замечательной четкостью и точностью» [*Grammont* 1950, 13, п.]; затем он добавляет: «Эти описания Мольер воспроизвел дословно в „Мещанине во дворянстве“, акт II, сцена 6 (1670)».

⁸¹ [*Beauzée* 1819, 340 f.]. Подобный же анализ провел и Бентам [*Bentham* 1962, 356].

⁸² Различие между «основными идеями», выраженными языковой формой, и ассоциируемыми с этой формой «добавочными идеями» подробно рассматривается в «Логике» Пор-Рояля, в главах 14 и 15. Основная идея — это то, что утверждается в «словарном определении», цель которого — попытаться точно сформулировать «истину употребления слов» [цит. по: *Арно, Николь* 1991, 90]. Однако словарное определение не может «целиком отразить впечатление, которое определяемое слово производит на разум»; «часто бывает так, что слово, помимо основной идеи, рассматриваемой как собственное значение данного слова, возбуждает в нашем уме еще и несколько других идей, которые можно назвать добавочными (*accessoires*); и хотя они производят на нас впечатление, мы не обращаем на них особое внимание» [*Arnauld* 1964, 90; ср.: *Там же*, 91]. Например, основное значение предложения *You lied* 'Вы солгали' заключается в том,

Примечания

что вы знали истинность обратного тому, что сказали. «Однако помимо своего основного значения эти слова в обычном употреблении влекут за собой идею презрения и обиды и внушают мысль, что человек, который их произносит, не боится нанести нам оскорбление, и это делает их обидными и оскорбительными» [Там же, 91]. Подобным же образом основное значение вергилиевого стиха *Usque adeone mon miserum est*, англ. *To die, is that such a wretched thing?* 'Неужто смерть — столь большое несчастье?' то же, что и значение предложения лат. *Non est usque adeo mori miserum*, англ. *It is not so very wretched to die* 'Не всегда умереть столь большое несчастье', однако исходное предложение «не только передает ту мысль, что смерть не столь великое зло, как полагают, но и представляет идею человека, который противится смерти и без страха смотрит ей в лицо» [Op. cit., 91-92; Там же, 92-93, 372]. Добавочные идеи могут быть «постоянно связаны со словами» [Там же, 92], о чем свидетельствуют только что приведенные примеры, или же они связываются с ними лишь в конкретном высказывании, например, посредством жеста или тона голоса [Op. cit., 90]. Иначе говоря, ассоциация между идеей и словом может устанавливаться как в языке (*langue*), так и в речи (*parole*).

Данное различие весьма сходно с различием между когнитивным и эмотивным значением. Также интересен для современного исследователя пример того, как некоторые грамматические процессы могут привести к изменениям в выражаемых

добавочных идеях при сохранении в неизменности основного значения. Например, в «Логике» утверждается, что обвинить кого-либо в невежестве или лживости не то же самое, что назвать кого-либо невежественным или лживым, поскольку «прилагательные „невежественный" и „лживый", указывая на известный недостаток, несут в себе еще идею презрения, тогда как слова „невежество" и „ложь" обозначают вещь такой, какова она есть, без колкости, но и без всякого смягчения» [Op. cit., 91; Там же, 92].

⁸³ [Bu/fier 1709]; цит. в [Sahlin 1928,121-122], причем с типичным для современных лингвистов пренебрежением, источник которого — мнение, будто подлинным объектом исследования может быть только поверхностная структура. См. [Katz, Postal 1964, §4.2.3, 4.2.4], где развиваются и аргументируются весьма сходные мысли.

⁸⁴ «О грамматической конструкции» [Du Marsais 1769, 229].

⁸⁵ Латинский пример, однако, вызывает целый ряд вопросов. См. [Chomsky 1965, chap. 2, § 4.4.], где содержится ряд замечаний по поводу так называемого «свободного порядка слов» в контексте обсуждаемых проблем.

⁸⁶ Из контекста не совсем ясно, относятся ли накладываемые на трансформации ограничения к языку (*langue*) или к речи (*parole*), касаются ли эти ограничения грамматики или ее использования; также неясно, имеет ли смысл сама постановка это-

Примечания

го вопроса в рамках концепции, разрабатываемой Дю Марсэ.

Полезно сравнить наше описание толкований предложений, даваемых Дю Марсэ, с объяснениями, предложенными Кацем, Федором и Посталом в их недавних публикациях. См. [Katz, Postal 1964] и имеющиеся там ссылки на литературу.

⁸⁷ Цитируемые мною примеры приводит и Салин в подтверждение смехотворности теории Дю Марсэ: «вряд ли стоит сравнивать ее с современной наукой с целью выявления и без того слишком очевидных ошибок» [Sahlin 1928, 84].

⁸⁸ [Reid 1785]. См. [Chomsky 1965, 199-200], где дается ряд комментариев и приводятся цитаты.

⁸⁹ Исключением является последний пример, приводимый в связи с анализом неопределенных артиклей. Подобного рода попытки выйти за пределы поверхностной формы допускаются современной лингвистической теорией и послужили предметом многих методологических дискуссий, в частности в США в 1940-е гг.

⁹⁰ См. [Postal 1964], где обсуждаются современные теории синтаксиса, допускающие это ограничение. В действительности для многих современных методологических дискуссий характерно предположение, что лингвистическое исследование должно быть ограничено поверхностной структурой конкретных предложений, содержащихся в заданном корпусе; отражение этих взглядов мы находим у Салина, когда он критикует Дю Марсэ за «не-

допустимую для грамматиста погрешность» [*Sahlin* 1928, 36], которая заключается в использовании придуманных примеров, а не одних только высказываний, реально наблюдаемых в живой речи, как будто можно себе представить иную рациональную альтернативу.

Обсуждение проблемы анализа глубинной и поверхностной структур содержится в [*Chomsky* 1957; 1964; 1965; *Lees* 1960; *Postal* 1964 b; *Katz, Postal* 1964; *Katz* 1965] и во многих других публикациях.

⁹¹ В качестве примера можно привести заявление Арнуа, содержащееся во введении к его исследованию по «философской грамматике» [*Harriots* 1929, 18] (следует подчеркнуть, что это исследование необычно хотя бы в том отношении, что автор рассматривает подлинное учение грамматистов-философов, не приписывая им абсурдные взгляды, совершенно противоположные их действительным высказываниям). Он указывает, что представители этого направления считали, что они вносят вклад «в науку, которая уже произвела на свет фундаментальный труд [т.е. „Граматику“ Пор-Рояля], иначе говоря, они полагали, что обогащают уже имеющееся наследие и умножают число добытых ранее результатов. Их вера может вызвать усмешку у современных лингвистов, но они действительно в это верили».

Следует отметить, что пренебрежительное отношение современных лингвистов к традиционной теории языка проистекает не только из их

стремления ограничиться поверхностной структурой, но нередко также из некритического принятия «бихевиористского» объяснения усвоения языка и его использования; это объяснение в основе своей является общим для нескольких дисциплин и представляется мне чистой мифологией.

⁹² [*Du Marsais* 1729; цит. в [*Sahlin* 1928, 29-30]. Истоки этих положений обсуждаются во «Введении» к указанной работе [*Op. cit.*, ix]. Арно много раньше, чем Дю Марсэ, отметил, что «обычно в частных грамматиках не рассматривается то, что является общим для всех языков» (1669; [цит. по: *Sainte-Beuve* 1860, 538]). В «Грамматике» Пор-Рояля различие между общей и частной грамматикой в явном виде не выражено, но имплицитно оно проводится. Вилкинс также различал «естественную» (т.е. «философскую», «рациональную» или «универсальную» грамматику, в которой описываются «основные принципы и правила, по необходимости относимые к философии письма и речи» и «установленную» (*instituted*), или «частную», грамматику, которая имеет дело с «особыми правилами данного языка» [*Wilkins* 1668, 297].

⁹³ См. «Предисловие» к [*Beauzée* 1819, v-vi].

⁹⁴ Цит. в [*Sahlin* 1928, 21]. Отметим, что Бозе и Д'Аламбер с разной степенью полноты рассматривали соотношение между конкретными фактами и общими принципами. Однако нельзя сказать, что их взгляды несовместимы.

⁹⁵ См. [*Sainte-Beuve* 1860, 538 f.; *Harnois* 1929, 20].

- ⁹⁶ Разумеется, доля так называемого «прескриптивизма» имплицитно присутствует в его выборе в качестве объекта описания «культивируемого узуса» (т. е. узуса лучших авторов, но также и «узуса устной речи», характерного для придворных кругов).
- ⁹⁷ Следует отметить, что сведение лингвистического исследования к описанию фактов без их объяснения не влечет за собой ограничения анализа одной лишь поверхностной структурой. Это добавочное ограничение вводится независимо от предыдущего.
- ⁹⁸ Вошла ни в коем случае не был первым, кто настаивал на первенстве узуса. Веком ранее Мегре*, автор одной из самых ранних французских грамматик, выразил мнение, что «мы должны говорить, как мы говорим» и что невозможно «устанавливать те или иные законы, противоречащие сложившемуся французскому произношению» (цит. в [Livet 1859]).

Интересно отметить, что реакция лингвистов-картезианцев на чистую описательность представляет собой повторение эволюции спекулятивной грамматики XIII в. как попытка дать рациональное объяснение вместо простой регистрации узуса. В спекулятивной грамматике также проводилось различие между универсальной и частной грамматикой; например, Роджер Бэкон** писал:

* *Мегре Луи* (Maigret или Maygret, Meigret, Meugret L, нач. XVI в. — после 1560) — французский грамматист.

** *Бэкон Роджер* (Wacon R., ок. 1220-1292) — английский философ и естествоиспытатель.

«что касается *субстанции*, то в этом отношении грамматика одна и та же во всех языках, хотя и варьирует в своих *акциденциях*» [*Vacon* 1902, 278] (цит. в [*Kretzmann* 1967]).

⁹⁹ Эта цитата взята из статьи «Дательный падеж», опубликованной в «Энциклопедии»; [цит. по: *Sahlin* 1928, 26]. Салин приводит также цитату из более ранней его работы «Истинные принципы грамматики» (см. прим. 95): «Нет грамматики до языков. Нет такого языка, который был бы построен в соответствии с грамматикой; наблюдения грамматистов должны опираться на узус и ни в коей мере не являются законами, которые ему предшествуют» [*Op. cit.*, 45]. Приведя эту цитату, Салин утверждает, что Дю Марсэ не придерживался этого принципа. Хотя в книге Дю Марсэ можно найти многое, за что его следует критиковать, тем не менее я не нахожу достаточного количества фактов, которые давали бы основание для такого обвинения.

¹⁰⁰ Это, разумеется, согласуется с картезианской методологией, в которой делается упор на необходимости наблюдений и экспериментов, проводимых с целью обоснования выбора между конкурирующими объяснениями. См. «Рассуждение о методе», часть VI. Совершенно очевидны и неоспоримы картезианские корни интереса к «общей грамматике» (которая показывает, что является достоянием всех людей) и к «рациональной грамматике» (которая должна объяснять факты, а не просто перечислять их). Сходным образом повторное открытие аристотелевского понятия рациональной науки в XIII в.

привело к созданию спекулятивной грамматики. См. [Kretzmann 1967].

¹⁰¹ Текст, о котором идет речь, принадлежит Арно и взят из его переписки, датируемой годом ранее выхода в свет «Граматики» Пор-Рояля. [ср.: *Sainte-Beuve* 1860, 536 f.].

Между прочим, «Грамматика» не совсем справедлива по отношению к Вожла, ибо в ней молчаливо предполагается, что он не знал о существовании контрпримеров. В действительности же Вожла сам упоминает один из приводимых в «Грамматике» примеров (а именно вокатив, для которого он предлагает наличие опущенного, но подразумеваемого артикля). Мало того, Вожла пытается каким-то образом оправдать, разумеется, в довольно апологетическом тоне, свою формулировку этого правила.

¹⁰² По поводу объяснительных возможностей лингвистики см. [Chomsky 1957; 1962; 1964; Katz 1964].

Одной из наиболее ярких особенностей американского дескриптивизма в 1940-е гг. было требование, чтобы объяснения формулировались в терминах четко определяемых процедур анализа. Основное достоинство дескриптивизма заключалось в требовании точности и в указании на необходимость обоснования дескриптивных утверждений в терминах, независимых от конкретного языка. Однако требования, предъявляемые к аргументации (а именно требование, чтобы она была «процедурной» в том смысле, в каком понималась процедура в методологических дискуссиях 1940-х гг.), были столь высокими, что все предприятие в целом

Примечания

оказалось неосуществимым, а некоторые реакции на эти строгие требования (в частности, мнение о том, что любая четко определенная процедура анализа не хуже любой другой) значительно уменьшили его потенциальную значимость.

¹⁰³ Тем не менее следует отметить, что при достаточно буквальном истолковании положений «Грамматики» Пор-Рояля окажется, что глубинные структуры вовсе не отождествляются с реальными предложениями. Ср. выше, с. 83–85 и прим. 70. В этом отношении концепция «Грамматики» Пор-Рояля довольно близка к трансформационной порождающей грамматике в том виде, в каком она развивается в работах, указанных в прим 90; в ней также делается допущение, что структуры, к которым применяются трансформационные правила, являются абстрактными глубинными формами, а не реальными предложениями. Отметим попутно, что в теории трансформаций, разработанной ранее З. Хэррисом вне рамок генеративной грамматики, трансформации действительно рассматриваются как связи между реальными предложениями; в этом отношении его теория по существу гораздо ближе к концепции Дю Марсэ и иных авторов (см. [Harris 1957] и многие другие его работы). См. также [Chomsky 1964, 62, п.], где более подробно обсуждается этот вопрос.

¹⁰⁴ Представления Гумбольдта были, однако, намного сложнее. Ср. выше, с. 49–64.

¹⁰⁵ Следует отметить, что, будучи описанными в подобных терминах, языковые универсалии не обя-

зательно должны присутствовать в каждом языке. Например, если определенный набор фонетических признаков объявляется универсальной фонетикой, это не значит, что каждый из этих признаков обязательно имеется в любом языке; скорее можно сказать, что в каждом языке производится свой особый выбор из этой системы признаков. Ср. у Бозе: «*Обязательные элементы речи (langage)*... в действительности присутствуют в каждом языке. Они совершенно необходимы, чтобы придать чувственный облик аналитическому и метафизическому изложению мысли. Однако я ни в коей мере не имею в виду индивидуальную необходимость, которая не представляет ни одному языку свободу отказаться от какого-либо из этих элементов; я лишь хочу подчеркнуть родовую необходимость, которая определяет границу выбора этих элементов» [*Beauzée* 1819, IX].

106 Этот трактат был переведен М. Х. Карре на английский язык; см. [*Herbert of Cherbury* 1937].

¹⁰⁷ Теоретические построения этих философов хорошо известны, за исключением, может быть, английского платонизма XVII в. См. [*Lovejoy* 1908], где уделяется некоторое внимание английскому платонизму, в частности его интересу к «идеям и категориям, которые входят составной частью в любое представление предметов и делают возможным единство и взаимосвязность рационального опыта». Оценки Лавджоя в свою очередь в значительной мере опираются на работу [*Lyons* 1888]. См также [*Passmore* 1951; *Gysi* 1962]. Несколько соответствующих цитат из Декарта, Лейбница и других философов

приведены в [Chomsky 1965, chap. I, §8]; в этой же работе уделено некоторое внимание значимости их воззрений в аспекте современных исследований.

См также [Chomsky 1962; Katz 1965], где рассматриваются преимущества рационалистического подхода к проблеме усвоения языка и неадекватность эмпиристских альтернатив. В этой же связи см. [Lenneberg 1964; 1967; Fodor, Katz 1964, §VI].

¹⁰⁸ *Лейбниц*. «Рассуждение о метафизике». Цит. приводятся по англ. пер. [Leibniz 1902]. Рассматривая теорию Платона, Лейбниц настаивает только на том, что ее следует «очистить от ложного учения о предсуществовании» [цит. по: *Лейбниц* 1982, 151]*. Также и Кедворт** принимает теорию припоминания, однако отбрасывает при этом учение Платона о предсуществующих идеях в качестве объяснения описываемых им фактов: «И в этом заключается единственно верный и приемлемый смысл того давно известного утверждения, что знание есть припоминание; это не воспоминание о чем-то, что душа действительно познала ранее в качестве предсуществующего; речь идет о схватывании вещей разумом посредством некоего собственного внутреннего предвосхищения; это нечто врожденное и хорошо знакомое разуму или нечто, активно творимое из глубин самого себя» [Cudworth 1838,

* Имеется в виду учение Платона о припоминании.

** *Кедворт Ралф* (Cudworth R., 1617-1688) — англ. философ ведущий представитель кембриджской школы платоников, сторонник теории врожденных идей.

II, 424]. Здесь и далее ссылки даются на указанное издание, которое является первой публикацией в Америке трудов Кедворта.

Мнение Лейбница о том, что «дух наш всегда выражает все свои будущие мысли и уже мыслит смутно, о чем он когда-либо будет думать отчетливо» [*Leibniz* 1902, § 26; цит. по: *Лейбниц* 1982, 151] можно рассматривать как фундаментальное положение, касающееся сущности языка (и мышления), которое мы обсуждали во втором разделе этой книги.

¹⁰⁹ [Ср.: *Beauzée* 1819, xv-xvi]. По его определению, «грамматическая метафизика» есть не что иное, как «обнаженная природа языка, подтверждаемая своими собственными фактами и сведенная к общим понятиям». И далее:

«Тонкости, обнаруживаемые в языке посредством этой метафизики... проистекают из вечного разума, который направляет нас без нашего ведома... Напрасно думать, что те, кто говорит лучше всех, не замечает этих тончайших принципов. Разве смогли бы они использовать эти принципы на практике столь совершенным образом, если бы их совершенно не осознавали? Я допускаю, что эти люди, возможно, не в состоянии рассуждать о принципах по ходу дела, но по всем правилам, поскольку они не исследовали их во всей их совокупности и систематичности; однако, в конце концов, раз они следуют этим принципам, значит, они ощущают их внутри самих себя; они не в состоянии избежать воздействия той естественной логики, которая, хотя

Примечания

и втайне, но непреодолимо направляет здравые умы во всех их поступках. Но общая грамматика и есть всего лишь рациональное изложение того, каким образом действует эта естественная логика».

¹¹⁰ Ср., однако, выше, с. 119. По-видимому, типичной для картезианской лингвистики является позиция, согласно которой эти принципы, хотя и применяются бессознательно, тем не менее могут осознаться благодаря интроспекции.

¹¹¹ «Но как бы мы ни старались обучить их определенным вещам, мы часто замечаем, что они знают наименования сотен иных вещей, которые мы вовсе не собирались им показывать; самое же удивительное во всем этом — наблюдать, как двух-трехлетние дети, исключительно благодаря силе своего внимания, способны извлечь из всех тех конструкций, которые мы используем, когда говорим об одной и той же вещи, имя, которым эту вещь обозначают»

[*Cordemoy 1677, 47–48*].

Кордемуа также обращает внимание на тот факт, что детям легче выучить родной язык, чем взрослым овладеть новым языком.

Интересно сравнить эти совершенно банальные, но абсолютно верные рассуждения с тем изображением процесса овладения языком, которое можно найти у многих современных авторов; в действительности их выводы основаны не на наблюдении, а на априорных предположениях о том, что, по их мнению, должно происходить. Ср., например, спекулятивные рассуждения Блумфилда по поводу

того, что все языковые «навыки» формируются посредством упражнений, обучения, стимулирования и подкрепления [Bloomfield 1933, 29–31]; см. также [Wittgenstein 1958, 1, 12–13, 77; Skinner 1957; Quine 1960] и др.

Иногда в современных исследованиях рассматривается некий процесс «генерализации» или «абстрагирования», который протекает одновременно с созданием ассоциаций и со стимулированием, однако следует подчеркнуть, что нам не известен ни один подобного рода процесс, который помог бы преодолеть неадекватность эмпиристских объяснений усвоения языка. Соответствующая литература указана в прим. 107. При рассмотрении этой проблемы следует, в частности, иметь в виду ту критику, которой Кедворт [Cudworth 1838, 462] подверг попытку избежать необходимости постулирования врожденных ментальных структур посредством демонстрации того, как общие идеи могут проистекать из чувственных образов (фантазмов) в результате «абстрагирования». Он указывает, что *intellectus agens* 'действующий разум' либо «действительно знает заренее, что ему делать с этими фантазмами, во что их следует превратить и какую форму им придать», в каковом случае предполагается наличие «интелигибельной идеи» и вопрос отпадает сам собой, либо, если у него нет такого намерения, «он оказывается плохим работником», так как действие «абстрагирования» может привести к любым случайным и абсурдным результатам.

Короче говоря, ссылка на «генерализацию» не устраняет необходимости четко объяснить,

на какой основе осуществляется усвоение верований и знаний. Если угодно, мы можем считать процессы, связанные с усвоением языка, процессами генерализации или абстрагирования. Но в таком случае нам, очевидно, придется признать, что термины «генерализация» и «абстрагирование», используемые в новом смысле, не имеют никакой видимой связи с тем, что называется «генерализацией» и «абстрагированием» в любом техническом или другом точно определенном смысле в философии, психологии или лингвистике.

¹¹² [Ср.: *Steinthal* 1867, 17]. Штейнталь считает главной заслугой Гумбольдта понимание того, что «ничто не может проникнуть в человека извне, если оно не было заложено в нем изначально, и что всякое внешнее влияние есть всего лишь стимул для проявления вовне внутреннего мира. В глубине этого внутреннего мира находится единый источник всякой подлинной поэзии и подлинной философии, источник всех идей и всех великих человеческих творений; из него же проистекает и язык».

Между прочим, взгляды Гумбольдта на образование отражают тот же интерес к творческой роли индивида. В своем очерке, направленном против государственного абсолютизма (см. выше, с. 58-60 и ел.), он пишет, что «наилучший способ [обучения] состоит, без сомнения, в том, чтобы предложить человеку все возможные решения проблемы, тем самым лишь подготовив его к выбору наиболее подходящего; или, еще лучше: указав ему

все препятствия, предоставить *ему самому* найти это решение» [цит. по: Гумбольдт 1985, 37]. По его мнению, этот метод воспитания недоступен государству, поскольку оно ограничивается авторитарными и принудительными мерами [Cowan 1963, 43]. В другом месте он заявляет, что «истoki всякого совершенствования всегда скрываются в глубинах души, и внешние меры могут лишь пробудить, но не породить его» [Op. cit., 126; Там же, 37]. «Вообще рассудок человека, так же как и другие его силы, формируется только посредством собственной деятельности, собственной изобретательности или собственного использования чужих открытий» [Op. cit., 42-43; Там же, 37; ср. также: Op. cit., 132 ff.].

Интересно сравнить вышеприведенные строки с мнением Хэрриса, изложенным им в «Гермесе»: нет «ничего более абсурдного, чем общепринятый взгляд на образование, согласно которому науку следует заливать в ум подобно тому, как заливают воду в цистерну, словно ум пребывает в пассивности и готов воспринимать все что угодно. Рост знания... [скорее напоминает]... вызревание плода; хотя внешние причины могут в некоторой степени содействовать этому, все же именно внутренняя мощь и сила дерева должна довести соки до полной зрелости» [Harris 1801, I, 209]. Очевидно, в данном случае идеалом является сократический метод как его описывает Кедворт, убеждение, что «знание должно не вливаться в душу подобно жидкости, а скорее выманиваться и мягко извлекаться из нее; ум не столько

должен наполняться знанием извне, подобно сосуду, сколько возбуждаться и воспламеняться им» [*Cudworth* 1838, 427].

- ¹¹³ О соотношении взглядов Кедворта и Декарта см. [*Passmore* 1951; *Gysi* 1962]; общая интеллектуальная атмосфера того времени описана в [*Lamprecht* 1935]. Пассмор приходит к выводу, что, несмотря на некоторые расхождения, «не было бы ошибкой назвать Кедворта картезианцем, столь значительным было совпадение их взглядов на многие важнейшие проблемы» [*Passmore* 1951, 8].
- ¹¹⁴ См. «Размышления II» Декарта. Мы знаем, что мы видим перед собой не «благодаря зрению», а «благодаря интуиции ума»; «когда я гляжу в окно и говорю, что вижу проходящих мимо людей, на самом деле я вижу не их, но заключаю, что то, что я вижу, суть люди» [*Descartes* 1955, 155]*.
- ¹¹⁵ Однако «мысли, которые возникают у нас по поводу материальных предметов, обычно являются одновременно ноэматическими и фантазматическими». Этим объясняется тот факт, что геометры могут полагаться на диаграммы и что «метафоры и аллегории доставляют нам столь большое удовольствие в речи» [*Cudworth* 1838, 430, 468].
- ¹¹⁶ Подобным же образом Кедворт приходит к типичному для рационалистов выводу, что наше знание организовано в виде своеобразной «дедуктивной

* Цит. приведена в пер. с англ.

системы», благодаря которой мы приходим к «нисходящему пониманию вещи, основываясь на универсальных идеях ума, а не к восходящему восприятию их, основываясь на чувственно воспринимаемых единичных вещах» [*Cudworth* 1838, 467].

¹¹⁷ См. [*Abrams* 1953], где рассматривается значимость данной теории когнитивных процессов для романтической эстетики и прослеживаются ее истоки в философской мысли прошлых веков, в частности в построениях философии Плотина, который «решительно отверг понимание ощущений как „следов” или „отпечатков”, оставляемых в пассивном уме; вместо этого он стал рассматривать ум как действие и силу, которая „озаряет собственным сиянием” чувственно воспринимаемые предметы» [*Op. cit.*, 59]. Параллели между Кантом и английскими философами XVII в. рассматриваются в [*Lovejoy* 1908].

¹¹⁸ См., например, [*MacKay* 1951; *Egunem* 1957 а, Б]. Обзор результатов многочисленных исследований, посвященных основным процессам, происходящим при восприятии, см. в [*Teuber* 1960, chap. LXV].

¹¹⁹ Относительно проблем фонологии и синтаксиса, см., соответственно, [*Halle, Stevens* 1964] и [*Miller, Chomsky* 1963], где содержатся ссылки на литературу по вопросу.

Литература

- Аристотель 1978* — *Аристотель*. Об истолковании // Аристотель. Соч.: В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978.
- Арно, Лансло 1990* Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, изложенная ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также — многочисленные новые замечания о французском языке, написанные Антуаном Арно и Клодом Лансло. М.: Прогресс, 1990.
- Арно, Лансло 1991* — *Арно А., Лансло К.* Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля). Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.
- Арно, Николь 1991* — *Арно А., Николь П.* Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991.
- Блумфилд 2002* - *Блумфилд Л.* Язык. М.: УРСС, 2002.
- Бозе, Душе 2001* — *Бозе Н., Душе.* Грамматика // Французские общие или философские, грамматики XVIII - начала XIX века: Старинные тексты. М.: ИГ «Прогресс», 2001.
- Бюфье Кл. 2001* — *Бюфье Кл.* Новый взгляд на французскую грамматику // Французские общие, или философские, грамматики XVIII - начала XIX века.

- Галилей 1964* — *Галилей Г.* Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой // *Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 1964.*
- Гердер 1906* — *Гердер И. Г.* Начало языка. Исследование о происхождении языка. Рига, 1906.
- Гердер 1959* — *Гердер И. Г.* Трактат о происхождении языка // *Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1959.*
- Гердер 1977* — *Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.
- Гумбольдт 1985* — *Гумбольдт В. фон.* Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства // *Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.*
- Гумбольдт 2000* — *Гумбольдт В. фон.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // *Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: ИГ «Прогресс», 2000.*
- Декарт 1950* — *Декарт Р.* Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950.
- Декарт 1989* — *Декарт Р.* Собр. соч.: В 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
- Дю Марсэ 2001* — *Дю Марсэ С.-Ш.* Принципы грамматики // *Французские общие, или философские, грамматики XVIII - начала XIX века.*
- Есперсен 2002* — *Есперсен О.* Философия грамматики. М.: УРСС, 2002.
- Ламетри 1983* — *Ламетри Ж. О.* Человек-машина // *Ламетри Ж. О. Сочинения. М.: Мысль, 1983.*
- Лейбниц 1982* — *Лейбниц Г. В.* Рассуждение о метафизике // *Лейбниц Г. В. Соч.: В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1982.*

Литература

- Лейбниц* 1983 — *Лейбниц Г. В.* Новые опыты о человеческом разумении // Лейбниц Г. В. Соч. Т. 2. 1983.
- Маркс* 1961 — *Маркс К.* Критика готской программы // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Госполитиздат, 1961. Т. 19.
- Маркс* 1974 — *Маркс К.* Экономически-философские рукописи 1844 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 42. 1974.
- Руссо* 1969 — *Руссо Ж.-Ж.* Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. М.: Наука. 1969.
- Уарте* 1960 — *Уарте Х.* Исследование способностей к наукам. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Хомский* 1972 — Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Шлегель* 1983 — *Шлегель Ф.* История древней и новой литературы // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М.: Искусство, 1983. Т. 2.
- Aarsleff* 1964 — Leibniz and Locke on Language // American Philosophical Quarterly, 1964. Vol. 1. №3. P. 1-24.
- Abrams* 1953 — *Abrams M. H.* The Mirror and the Lamp. Romantic theory and the critical tradition. Fair Lawn; N.J.: Oxford University Press, 1953.
- Arnauld* 1964 — *Arnauld A., Nicole P.* La Logique ou l'art de penser, 1662. Англ. пер.: *Arnauld A.* The Art of Thinking. Port-Royal Logic. Trans, by J. Dickoff and P. James. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1964.
- Bacon* 1902 — *Bacon R.* Grammatica graeca // Nolan E., Hirsch S. A. (eds.). The Greek Grammar of Roger Bacon and a Fragment of his Hebrew Grammar. Cambridge, 1902.
- Bayle* 1670 — *Bayle F.* The General System of the Cartesian Philosophy [1669]. English trans., 1670.

- Bayle 1965 - Bayle P.* Historical and Critical Dictionary [1697]. Selections trans, by R. H. Popkin. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1965. (Рус. пер.: *Бейль П.* Исторический и критический словарь: В 2-х т. М.: Мысль, 1968.)
- Beauzée 1819 — Beauzée N.* Grammaire générale ou Exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage pour servir de fondement à l'étude de toutes les langues, 1767. Éd. rev. Paris, 1819.
- Bentham 1962 - Bentham J.* Works / J. Bowring (éd.). N. Y.: Russell and Russell Inc., 1962. Vol. III.
- Berthelot 1932 — Berthelot R.* Science et philosophie chez Goethe. Paris: F. Alcan, 1932.
- Bloomfield 1933 - Bloomfield L.* Language. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1933.
- Bougeant 1739 — Bougeant, G. H., Père.* Amusement philosophique sur le langage des bestes. La Haye: Van Dole, 1739.
- Brekle 1964 — Brekle H. E.* Semiotik und linguistische Semantik in Port-Royal // Indogermanische Forschungen, 1964. Vol.69. S. 103-121.
- Brown 1964 — Brown R. L.* Some Sources and Aspects of Wilhelm von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity. University of Illinois, 1964. (Неопубликованная докторская диссертация.)
- Bruner 1957a — Bruner J. S.* Neural Mechanisms in Perception // Psychological Review. 1957. Vol.64. P.340-358.
- Bruner 1957b — Bruner J. S.* On Perceptual Readiness // Psychological Review. 1957. Vol.64. P. 123-152.
- Brunot 1924 — Brunot F.* Histoire de la langue française. Paris: Librairie Armand Colin, 1924. Vol. IV. P. 2.
- Buffier 1709 — Buffier C.* Grammaire françoise sur un plan nouveau. Paris, 1709.

- Carmichael 1964* — *Carmichael L.* The Early Growth of Language Capacity in the Individual // *Lenneberg E. H.* (ed.). *New Directions in the Study of Language.* Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press, 1964.
- Cassirer 1953* — *Cassirer E.* The Philosophy of Symbolic Forms [1923]. English trans. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1953. (Рус. пер.: *Кассирер Э.* Философия символических форм. М.; СПб: Университетская книга, 2002. Т. 1-3.)
- Chomsky 1957* — *Chomsky N.* Syntactic Structures. The Hague: Mouton and Co., 1957. (Рус. пер.: *Хомский Н.* Синтаксические структуры // *Новое в лингвистике.* М.: ИЛ, 1962. Вып. 2.
- Chomsky 1959* - *Chomsky N.* A Review of B. F. Skinner, "Verbal Behavior" // *Language*, 1959. Vol. 35. P. 26-58. Перепечатано в [*Fodor, Katz 1964*].
- Chomsky 1962* — *Chomsky N.* Explanatory Models in Linguistics // *Nagel E. et al.* (eds.). *Logic, Methodology, and Philosophy of Science.* Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1962.
- Chomsky 1964* - *Chomsky N.* Current Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton and Co. 1964. Частично перепечатано в [*Fodor, Katz 1964*].
- Chomsky 1965* — *Chomsky N.* Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The M. I. T. Press, 1965. (Рус. пер.: *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1965.)
- Coleridge 1893* — *Coleridge S. T.* Lectures and Notes of 1818 // *Ashe T.* (éd.). *Lectures and Notes on Shakespeare and Other English Poets.* London: G. Bell & Sons, Ltd. 1893.
- Cordemoy 1677* — *Cordemoy G. de.* Discours Physique de la Parole. 1666; 2-d ed. 1677. English trans. 1668.

- Couturat, Lean 1903 — Couturat L., Leau L.* Histoire de la langue universelle. Paris: Hachette et C^{ie}. 1903.
- Cowan 1963 — Cowan M.* Humanist without Portfolio. Detroit: Wayne State University Press, 1963.
- Cudworth 1838 — Cudworth R.* Treatise Concerning Eternal and Immutable Morality [1731]. N.Y.: Andover. 1838.
- D'Alembert 1757 - D'Alembert J., Diderot D.* Éloge du M. du Marsais // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris, 1757. Vol. 7.
- Descartes 1892 — Descartes R.* Correspondence. Trans, by H. A. P. Torrey // The Philosophy of Descartes. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1892.
- Descartes 1936 — Descartes R.* Correspondence. Trans, by L. C. Rosenfield (L. Cohen) // Annals of Science. 1936. Vol.1. №1.
- Descartes 1955 — Descartes R.* The Philosophical Works of Descartes. Trans, by E. S. Haldane and G. R. T. Ross. N. Y.: Dover Publications, Inc., 1955.
- Diderot 1751 — Diderot D.* Lettre sur les sourds et muets. Paris, 1751.
- Du Marsais 1729 — Du Marsais C. Ch.* Les véritables Principes de la Grammaire ou Nouvelle Grammaire raisonnée pour apprendre la langue latine. Paris, 1729.
- Du Marsais 1769 — Du Marsais C. Ch.* Logique et Principes de Grammaire. Paris: Briasson, 1769.
- Fiesel 1927 — Fiesei E.* Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr, 1927.
- Flew 1952 — Flew A.* Introduction // Flew A. (ed.). Logic and Language. First Series. Oxford: Blackwell, 1952. P. 1-10.
- Fodor 1965 ~ Fodor J.A.* Could Meaning Be an "r_m"? // Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 1965. Vol.4. P. 73-81.

- Fodor 1968* — *Fodor J.A.* Psychological Explanation: An Introduction to the Philosophy of Psychology. N. Y.: Random House, 1968.
- Fodor, Katz 1964* - *Fodor J.A., Katz J.J.* (eds.). The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1964.
- Galilei 1953* - *Galilei G.* Dialogue on the Great World Systems [1630]. Chicago: The University of Chicago Press, 1953.
- Grammont 1920* — *Grammont M.* Review of A. Grégoire, "Petit traité de linguistique" // Revue des langues romanes. 1920. Vol.60.
- Grammont 1933* — *Grammont M.* Traité de phonétique. Paris: Librairie Delagrave, 1933.
- Gunderson 1964* — *Gunderson K.* Descartes, La Mettrie, Language and Machines // Philosophy. 1964. Vol. 39. P. 193-222.
- Gysi 1962* — *Gysi L.* Platonism and Cartesianism in the Philosophy of Ralph Cudworth. Bern: Verlag Herbert Lang and Cie., 1962.
- Halle, Stevens 1964* — *Halle M. and Stevens K. N.* Speech Recognition: A Model and a Program for Research // Fodor J. A., Katz J.J. (eds.). The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1964.
- Harnois 1929* — *Harnois G.* Les théories du langage en France de 1660 à 1821 // Études Françaises. 1929. Vol. 17.
- Harris 1801* — *Harris J.* Works. Ed. by the Earl of Malmesbury. London, 1801. Vol. I-II.
- Harris 1957* — *Harris Z. S.* Co-occurrence and Transformation in Linguistic Structure // Language. 1957. Vol.33. P. 283-340. Перепечатано в [*Fodor, Katz 1964*]. (Рус.)

пер.: Хэррис З. Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре // Новое в лингвистике. М.:ИЛ, 1962. Вып. 2).

Herbert of Cherbury 1937 - Herbert of Cherbury. De Veritate [1624]. Trans, by M. H. Carre // University of Bristol Studies, 1937. № 6.

Herder 1960 — Herder J. G. Abhandlung über den Ursprung der Sprache [1772] Частично перепечатано в: *HeintelE.* (ed.). *Herder's Sprachphilosophie.* Hamburg: Felix Meiner Verlag. 1960.

Herder 1784-1785 - Herder J. G. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Riga und Leipzig: Hartknoch, 1784-1787. Bd. 1-3.

Hockett 1958 — Hockett C.F. A Course in Modern Linguistics. N. Y.: The Macmillan Company, 1958.

Huarte 1698 — Huarte J. Examen de Ingeniös para las ciencias [1575]. English trans, by Bellamy, 1698.

Humboldt 1963 — Humboldt W. von. Ideen zu einem Versuch der Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen [1792]. Частично переведено в [*Cowan 1963, 37-64*].

Humboldt 1960 — Humboldt W. von. Über die Verschiedenheit des Menschlichen Sprachbaues [1836]. Facsimile ed. Bonn: F. Dümmlers Verlag, 1960.

Jespersen 1924 — Jespersen O. The Philosophy of Grammar. London: George Allen & Unwin, Ltd., 1924.

Joos 1957 — Joos M. (ed.). Readings in Linguistics. Washington: American Council of Learned Societies, 1957.

Katz 1964 — KatzJ.J. Mentalism in Linguistics // Language 1964. Vol.40. P. 124-137.

Katz 1966 — KatzJ.J. Philosophy of Language. N. Y.: Harper & Row, Publishers, Incorporated, 1966.

- Katz, Postal 1964 - Katz J. J., Postal P. M.* An Integrated Theory of Linguistic Description. Cambridge, Mass.: The M. I. T. Press, 1964.
- Kirkinen 1961 — Kirkinen H.* Les origines de la conception moderne de l'homme-machine // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. Helsinki, 1961. Vol. 122.
- Kretzmann 1967 — Kretzmann N.* History of Semantics // Edwards P. (ed.). Encyclopedia of Philosophy. N. Y.: The Company Macmillan & the Free Press; London: Collier-Macmillan Limited, 1967. Vol. 7.
- La Mettrie 1912 - La Mettrie J. O. de.* L'Homme-Machine [1747]. Critical edition by A. Vartanian. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960. АНГЛ, пер.: *La Mettrie J. O. de.* Man a Machine. La Salle, Ill.: The Open Court Publishing Company, 1912.
- Lamprecht 1935 — Lamprecht S. P.* The Role of Descartes in Seventeenth-century England // Studies in the History of Ideas. Ed. by Department of Philosophy, Columbia University. N. Y.: Columbia University Press, 1935. Vol. III.
- Lamy 1676 — Lamy B.* De l'Art de Parler. 1676.
- Lancelot, Amauld 1660 — Lancelot C., Arnauld A.* Grammaire générale et raisonnée. Paris, 1660.
- Lees 1960 — Lees R. B.* The Grammar of English Nominalizations. The Hague: Mouton and Co., 1960.
- Leibniz 1902 — Leibniz G. W. von.* Discourse on Metaphysics. Trans. G. R. Montgomery. La Salle, Ill.: The Open Court Publishing Company, 1902.
- Leibniz 1949 — Leibniz G. W. von.* New Essays Concerning Human Understanding. Trans. by A. G. Langley. La Salle, Ill.: The Open Court Publishing Co., 1949.
- Leitzmann 1908 — Leitzmann A.* (ed.). Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel. Halle a. S., 1908.

- Lenneberg 1964* — *Lenneberg E. H.* A Biological Perspective of Language // *Lenneberg E. H.* (ed.). *New Directions in the Study of Language*. Cambridge, Mass.: The M. L. T. Press, 1964.
- Lenneberg 1967* — *Lenneberg E.H.* *Biological Foundations of Language*. N. Y.; London; Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1967.
- Livet 1859* — *Livet Ch.-L.* *La grammaire française et les grammairiens du XVI^e siècle*. Paris: Didier, 1859.
- Lovejoy 1908* — *Lovejoy A. O.* *Kant and the English Platonists // Essays Philosophical and Psychological in Honor of William James*. N. Y.: Longmans, Green & Co., Inc., 1908.
- Lovejoy 1936* — *Lovejoy A. O.* *The Great Chain of Being*. N. Y.: Harper & Row, Publishers, Incorporated, 1936.
- Lyons 1888* — *Lyons G.* *L'idéalisme en Angleterre au XVIII^e siècle*. Paris, 1888.
- MacKay 1951* — *MacKay D. M.* *Mindlike Behavior in Artefacts // British Journal for Philosophy of Science*. 1951. Vol.2. P. 105-121.
- Magnus 1949* — *Magnus R.* *Goethe als Naturforscher*. Leipzig: Barth, 1906. Англ. пер.: H.Norden, N. Y: Abelard-Schuman, Limited, 1949.
- Marx 1875* - *Marx K.* *Critique of the Gota Program*. 1875.
- Marx 1961* — *Marx K.* *Economic and Philosophical Manuscripts [1844]*. Trans. T. B. Bottomore // *Fromm E.* (ed.). *Marx's Concept of Man*. N.Y: Ungar Publishing Co., 1961.
- McIntosh 1956* — *McIntosh Margaret M. C.* *The Phonetic and Linguistic Theory of the Royal Society School*. Oxford University, 1956. (Неопубликованная диссертация, представленная на соискание степени бакалавра филологических наук.)

- Mendelsohn 1964* — *Mendelsohn E.* The Biological Sciences in the Nineteenth Century: Some Problems and Sources // History of Science. 1964. Vol.3.
- Mill 1867* — *Mill J. S.* Inaugural Address Delivered to the University of St. Andrews. London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1867.
- Miller, Chomsky 1963* — *Miller G.A., Chomsky N.* Finitary Models of Language Users. Part 2 // *Luce R.D., Bush R., Galanter E.* (eds.). Handbook of Mathematical Psychology. N.Y.; London: John Wiley & Sons, Inc., 1963. Vol.11.
- Passmore 1951* — *Passmore J.* Ralph Cudworth. N. Y.: Cambridge University Press, 1951.
- Postal 1964a* — *Postal P.M.* Constituent Structure: A study of contemporary models of syntactic description. Bloomington: Indiana University Press; The Hague: Mouton and Co., 1964.
- Postal 1964b* — *Postal P. M.* Underlying and Superficial Linguistic Structures // Harvard Educational Review, 1964. Vol.34. №2.
- Proudhon 1875* — *Proudhon P.-J.* Correspondance. Ed. par J.-A. Langlois. Paris: Librairie Internationale, 1875. Vol.1.
- Quine 1960* - *Quine W. V. O.* Word and Object. Cambridge, Mass.: The Technology Press; N. Y.; London: John Wiley & Sons, Inc., 1960.
- Reid 1785* — *Reid Th.* Essays on the Intellectual Powers of Man. Edinbourg. 1785.
- Robinet 1761-1768* — *Robinet J.B.* De la Nature. Amsterdam, 1761-1766. Vol. 1-4.
- Rocker 1937* — *Rocker R.* Nationalism and Culture. Trans. by R. E. Chase. London: Freedom Press, 1937.
- Rosenfield 1941* — *Rosenfield L. C.* From Beast-Machine to Man-Machine. Fair Lawn, N.J.: Oxford University Press, 1941.

- Rousseau 1964* — *Rousseau J.-J.* Discourse on the Origins and Foundations of Inequality among Men [1755] // *Masters R. D.* (ed.). The First and Second Discourses. N. Y.: St. Martin's Press, Inc., 1964.
- Ryle 1949* — *Ryle G.* The Concept of Mind. London: Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., 1949.
- Sahlin 1928* — *Sahlin G.* César Chesneau du Marsais et son rôle dans l'évolution de la Grammaire générale. Paris: Presses Universitaires, 1928.
- Sainte-Beuve 1860* — *Sainte-Beuve Ch.-A.* Port Royal. 2-d éd. Paris: Hachette, 1860. Vol. III.
- Schlegel 1846* — *Schlegel A.W.* De l'étymologie en général // *Schlegel A. W.* Oeuvres Écrites en Français. Éd. de E. Böcking. Leipzig, 1846.
- Schlegel 1892* — *Schlegel A. W.* Lectures on Dramatic Art and Literature [1808]. Trans. by John Black. 2nd ed. London: G. Bell & Sons, Ltd., 1892.
- Schlegel 1962* — *Schlegel. A. W.* Briefe über Poesie, Silbenmass und Sprache [1795] // *Schlegel A.W.* Kritische Schriften und Briefe. Hrsg von E. Löhner. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1962. Bd. I. Sprache und Poetik.
- Schlegel 1963* - *Schlegel A. W.* Kritische Schriften und Briefe. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1963. Bd. II. Die Kunstlehre [1801].
- Schlegel 1812* — *Schlegel F. von.* Geschichte der alten und neuen Literatur. Wien: Schaumburg, 1812.
- Skinner 1957* — *Skinner B. F.* Verbal Behavior. N. Y.: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1957.
- Smith 1761* — *Smith A.* Considerations Concerning the First Formation of Languages, Etc. // *Smith A.* The Philological Miscellany. 1761. Voll.

Литература

- Snyder 1929* — *Snyder A. D.* Coleridge on Logic and Learning. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1929.
- Steinthal 1855*—*Steinthal H.* Grammatik, Logik und Psychologie. Berlin, 1855.
- Steinthal 1867* — *Steinthal H.* Gedächtnissrede auf Humboldt an seinem hundertjährigen Geburtstage. Berlin, 1867.
- Teuber 1960* - *Teuber H. L.* Perception // Field J., Magoun H. W., Hall V. E. (eds.). Handbook of Physiology-Neurophysiology. Washington, D. C.: American Physiological Society, 1960. Vol. III.
- Torrey 1892* - *Torrey H. A. P.* The Philosophy of Descartes. N. Y.: Holt, 1892.
- Troubetzkoy 1933* — *Troubetzkoy N. S.* La phonologie actuelle // Psychologie de langage. Paris, 1933.
- Vaugelas 1647* — *Vaugelas Cl F.* de. Remarques sur la langue françoise. Paris, 1647.
- Veitch 1880* - *Veitch J.* The Method, Meditations and Selections from the Principles of Descartes. Edinburgh: William Blackwood & Sons, Ltd., 1880.
- Wellek 1931* - *Wellek R.* Kant in England. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1931.
- Whitehead 1926* — *Whitehead A. N.* Science and the Modern World. N.Y.: Macmillan, 1926.
- Whitney 1873* - *Whitney W. D.* Steinthal and the Psychological Theory of Language // North American Review, 1872. Перепечатано в: *Whitney W. D.* Oriental and Linguistic Studies. N.Y.: Scribner, Armstrong and Co., 1873.
- Wilkins 1668* — *Wilkins J.* An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. London, 1668.
- Wittgenstein 1961* — *Wittgenstein L.* Tractatus Logico-philosophicus [1922]. НОВЫЙ АНГЛ, пер.: *Pears D. F. and McGinness B. F.* London: Routledge «St Kegan Paul, Ltd., 1961.

Н. Хомский. Картезианская лингвистика

(Рус. пер.: *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. *Философские работы.* М.: Гнозис, 1994. Т. 1.)

Wittgenstein 1958 — Wittgenstein L. Blue and Brown Books. N. Y.: Harper & Row, Publishers, Incorporated, 1958. (Рус. пер.: *Витгенштейн Л.* Голубая книга. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999; *Витгенштейн Л.* Коричневая книга. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.)